КАРМАЛЮК

В. Канивец

ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Перед вами биография легендарного Устима Кармалюка. Он был повстанцем, предводителем крестьянского движения в Подольской губернии на Правобережной Украине. Родился на Подолии в семье крепостного крестьянина. За неоднократное «неповиновение» в 1812 был отдан помещиком в солдаты, но бежал. В начале 1813 года организовал повстанческий отряд из крепостных крестьян. Повстанцы громили помещичьи усадьбы, забирали имущество, деньги и раздавали их крепостным. Наивысшего размаха борьба с помещиками достигла в 1832-1835. За всё время в ней приняли участие не менее 20 тыс. крепостных крестьян, а также городской бедноты, беглых солдат. Неоднократно Кармалюк попадал в руки царских властей, сидел в тюрьмах, был на каторге в Сибири, но после успешных побегов возвращался на родину и возобновлял борьбу. В 1835 году был предательски убит в с. Каричинцы-Шляховы. Ещё при жизни Кармалюк стал героем украинских песен и легенд.

- Владимир Васильевич Канивец
  - СЫН КРЕПОСТНОГО
  - ПЕРВЫЙ БУНТ
  - В ПОЛКУ
  - ПЕРВЫЕ ПОЖАРЫ
  - ПЯТЬСОТ ШПИЦРУТЕНОВ
  - К СМЕРТНОЙ КАЗНИ
  - В СИБИРЬ
  - БОЙ СО ШЛЯХТОЙ
  - БУНТ В ТЮРЬМЕ
  - НА КАТОРГЕ
  - ПРИКАЗ ВОЙСКАМ
  - ВЯЖИТЕ ПАНОВ!.
  - ОСАДА В КАМЕРЕ
  - ТРЕТИЙ ПОБЕГ ИЗ СИБИРИ
  - ПОБЕГ ИЗ ЛИТИНСКОГО ЗАМКА
  - ГАЛУЗИНСКАЯ КОМИССИЯ
  - ПРЕДАТЕЛЬСТВО. ГИБЕЛЬ
  - ЭПИЛОГ
  - ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УСТИМА КАРМАЛЮКА
  - КРАТКАЯ БИБЛИОГРАФИЯ
  - СОДЕРЖАНИЕ
- notes

- ○ 1
- ○ 2
- ○ 3
- ○ 4
- ○ 5
- ○ 6
- ○ 7
- ○ 8
- ○ 9
- ○ 10
- ○ 11
- ○ 12
- ○ 13
- ○ 14
- ○ 15
- ○ 16
- ○ 17
- ○ 18
- ○ 19
- ○ 20
- ○ 21
- ○ 22
- ○ 23

Владимир Васильевич Канивец
КАРМАЛЮК

СЫН КРЕПОСТНОГО

Ой, крикнули сірі гуси
Аж по той бік ставу.
Уродився Кармалюка
На людську славу…

Из народной песни

Ой, родився Кармалюка
В селі на Поділлі
І купала його мати
В зеленому зіллі…[1]

В конце февраля 1787 года на Подолии было уже совсем тепло. А тут вдруг замело, запуржило. На узких улицах села Головчинцев легли сугробы, в трубах домов завыла вьюга.

Еще не занялась и заря, как из хат, кутаясь в жалкое тряпье, начали выходить люди. Брели, утопая в снегу, и старики, и мужчины, и женщины, и дети. Эта оборванная, окоченевшая от холода толпа собралась у панского дома, и казалось, что это нищие стоят, терпеливо ожидая подаяния.

Долго топтались люди, коченея на холодном ветру, но эконом не появлялся. Наконец он вышел на крыльцо. Мужики сняли шапки, и все, склонив головы, замерли. И только дети, держась за юбки матерей, пританцовывали: холод был сильнее страха получить розги за такую вольность. Писарь начал вызывать по списку. Когда очередь дошла до Якима Кармалюка, то оказалось, что жены его нет.

— До кошу,[2] — приказал эконом гайдукам.

— Пане добродию! — взмолился Яким, проталкиваясь вперед… — Жинка моя сына родыла…

Эконом махнул гайдукам: отставить, мол. Якиму же сказал, чтобы он уплатил за все те дни панщины, которые не сможет отработать жена. Яким обреченно склонил голову. Опять, значит, надо идти к корчмарю и просить в долг. А где потом взять, чтоб вернуть, о том страшно было и думать. Продать нечего, заработать негде: на панщину и в воскресенье гонят. А корчмарь еще и проценты дерет такие, что берешь рубль, а отдаешь десять.

Разогнав людей по работам, эконом пошел доложить пану о делах. Пан Орловский вышел растрепанный, опухший от перепоя. Вчера к нему заезжал литинский маршалок, возвращавшийся из Каменец-Подольска. Они всю ночь пили и толковали о

предстоящем сеймике, о новых кознях москалей. Маршалок подтвердил: в Каменец-Подольске обеспокоены слухами о том, что хлопы готовятся повторить уманскую резню.[3] Арестовано еще несколько маркитантов,[4] якобы агентов царицы Екатерины, которые перевозили под своими товарами ножи и раздавали их хлопам. В корчмах подвыпившие хлопы хвалятся, что вот-вот придет сын Гонты с гайдамаками бить панов. На Волыни одного пана вместе с семьей уже убили. Перепуганная шляхта, бросая имения, бежит в крепости под защиту войск. Пан Орловский хотя и произносил воинственные речи, утверждая, что он не боится «презренного быдла», но вещи приказал уложить в экипаж.

— У вас, мосци пане, доход, — начал свой доклад эконом, — жена Якима Кармалюка хлопа родила.

— Пусть живет, — молвил пан таким тоном, точно без этого позволения его новый раб не мог появиться и на свет божий, — пусть живет, а то у меня больше хлопов сдыхает, чем рождается. Я же думаю продавать эти поганые Головчинцы, пока меня тут еще не зарезали…

— Правда ваша, мосци пане, — с тяжким вздохом согласился эконом. — Корчмарь знов донес: хлопы ждут гайдамаков.

— Проклятое быдло! Корчмарь сказал, кто говорил?

— Даже список составил.

— По двести розог!

— Слухаю, мосци пане. — Эконом, помолчав, снова заговорил, явно стараясь угодить своему хозяину: — Но вся шляхта мовит: наш наияснейший круль не позволит хлопам повторить уманскую резню…

— Молчите, ацан![5] — сердито оборвал эконома пан Орловский. — Наш круль давно делает так, как царица Екатерина велит.

После освободительной войны под руководством Богдана Хмельницкого самым крупным крестьянским восстанием на Украине была Колиивщина.[6] Вспыхнуло это восстание летом 1768 года. Во главе его стали Максим Железняк и Иван Гонта. Крестьяне брали один город за другим. Они жгли поместья, крепости, уничтожали ненавистных врагов своих — польских панов.

Пожар восстания охватил всю Подолию, Киевщину и Волынь. Загоны[7] Семена Неживого, Никиты Швачки, Андрея Журбы и многих других руководителей восставших крестьян громили панские поместья. Но силы были неравные, и восстание потерпело поражение. Польские паны жестоко расправились с крестьянами. Тысячи их были казнены и подвергнуты самым жестоким мукам. Панам казалось, что они на веки вечные выбили

из своих хлопов бунтарский дух. Но минуло всего двадцать лет, и вновь приходится не спать по ночам, а то и, бросив все, позорно бежать из имений.

После Колиивщины насквозь прогнившая феодальная Польша не могла оправиться, и вынуждена была в 1772 году вернуть России когда-то захваченные у нее земли: воеводства Полоцкое, Витебское, Мстиславское и часть Минского. Это был первый раздел Речи Посполитой. Сейчас, боясь нового выступления крестьян, паны опасались возможности второго раздела когда-то обширного и могучего государства. А разговоры о втором разделе Речи Посполитой шли все упорнее.

В метрической книге Литинского повита[8] села Головчинцев за 1787 год появилась новая запись:

«Аз, иерей Иоан Палей, парох Головчински храму Покрова присвятие богородици, окрестих и миром святим помазах младенца Севастияна от родителей законновенчанных Якима Кармалюка и жены его Елены…».

Из этой записи видно, как шляхта старалась ополячить украинский народ. Имя мальчика поп записал на польский лад — Севастиян, а не Устим. Да и позже имя Кармалюка, кроме народных рассказов и песен, пишется в судовых актах на польский лад: Августин, Севастиан, Иусгин, Устиан, так как делопроизводство велось только на польском языке.

Родное село Устима Кармалюка так описывается современниками: Головчинцы брошены как бы в неглубокий овраг, по глинистым обрывам которого лепятся крестьянские хаты. Панский дом, почерневшая от времени деревянная церковь, винокурня и — обязательное заведение всех сел — корчма, похожая на конюшню. Выглядят Головчинцы печально и как-то понуро со своими покосившимися на бок хатками, огороженными вместо тынов кустами дерезы, с двумя маленькими зловонными прудами, в которые стекают отходы винокурни. К самому селу подступают дремучие леса.

На окраине села, в маленькой хатке с растрепанной вьюгами крышей, и жил Яким Кармалюк. Семья у него была небольшая: жена, дочь Оксана и сын Устим.

О том, как жил отец Устима Кармалюка, не сохранилось сведений. Но есть много документов, которые рассказывают, как жили все крестьяне Речи Посполитой. Известный прогрессивный деятель того времени Станислав Сташиц в одной из своих книг приводит такой рассказ крестьянина:

«Мой пан запутался в долгах и продал имение. Новый владелец был нам еще худшим тираном, чем прежние. Было у

меня два сына. Один получил землю, а другой без земли, без хлеба остался и ушел учиться ремеслу. Пан стращал меня суровыми наказаниями и приказал доставить ему сына. Меня посадили в тюрьму и не выпускали, пока я не уплатил несколько сот злотых за сына. Меня сочли богачом и, надеясь взять с меня еще больше, приказали забить в колодки и держать до тех пор, пока сын не вернется. Я жаловался на несправедливое обращение. Это сочли дерзостью. Велели забрать у меня из дому все. Мучили меня. Ковали в кандалы и запирали в хлев. Я убежал из тюрьмы. Но мне нет правосудия в здешнем крае: кто меня мучит, тот мне и единственный судья. В законах человек моего звания не находит обороны более, чем скот…».

«Перед моими глазами, — говорит тот же Станислав Сташиц, — миллионы несчастных творений: полунагие, прикрытые шкурами и жесткими сермягами. Высохшие, обросшие, со впалыми глазами, одурелые. Это более животные, чем люди. Хлеб с мякиной их обыкновенная пища. А в продолжение четверти года они едят одно зелье».

Тадеуш Костюшко, служивший в эти годы на Украине, писал: «Крестьяне едва смеют дышать без воли своих панов. Они не имеют никакого права. Они не могут никоим способом уклониться от притеснений или жестокости, не говоря уже о несправедливостях, которые они терпят постоянно».

К этим рассказам следует еще добавить, что закон разрешал шляхтичам казнить своих хлопов «на горло», то есть вешать или убивать. А о том, каким изощренным издевательствам и пыткам подвергали паны своих крепостных, уж и говорить нечего. «Азиатские деспоты во всю жизнь, — признается Симон Старовольский, — не замучат столько людей, сколько их замучат каждый год в свободной Речи Посполитой».

В то время когда народ питался одним зельем, умирал с голода, поэт Трембицкий писал, что Подолия — это:

Kraina mlekiem plynaca i miodem.[9]

Из Подолии текли в Польшу не только реки молока и меда, но и реки пота и крови, которые выжимали, из крестьян посессоры, экономы, официалисты, чтобы их господа могли кричать на сеймах о шляхетских вольностях, пировать, плясать, играть в карты. Праздность, пьянство, злонравие и разврат, как признавали сами поляки, царили в панских домах. Самый захудалый шляхтич, у которого, кроме гонора, ничего не было за душой, труд земледельца считал занятием позорным. Не имея

своего фольварка, он предпочитал пресмыкаться перед богатым паном, а не ходить за плугом. Там его хоть и пороли — правда, не на земле, а на ковре, дабы не уронить его шляхетское достоинство, — но зато обильно поили и кормили. Устроившись на одну из придворных должностей — подстаросты, лесничего, ловчего, люстратора, скарбника, — он безжалостно обдирал крестьян, сколачивая капитал, чтобы купить имение.

Желая предупредить выступление народа, шляхта принялась нагонять страх на своих хлопов. Испуг панов был так велик, что они и колядовавших парубков принимали за гайдамаков, заковывали в кандалы и отправляли в специальные комиссии. А там им рубили головы, вешали их или пороли так, что они умирали под кнутами. Жалобы крестьян на своих хозяев в то время квалифицировались как бунт. За жалобу на посессора одного крестьянина повесили, а остальным по дороге домой в каждом селе приказано было давать по сто кнутов, дабы все бунтовщики видели, какие кары их ждут. Люди не выдерживали таких истязаний и гибли.

«Выбивают из них розгами мятежный задор, и чаще всего достается совсем невинным, — писал очевидец этого разнузданного террора. — Страшно вообразить, какому поруганию подвергаются хлопы, и остается только желать, чтобы поступки с ними не довели их до крайнего отчаяния. Да если бы до таких бед не дошло, все-таки для целого края настало великое разорение. Помещик покидает хозяйство и бежит в город, а мужик не радеет о плодах своей нивы, потому что их у него могут каждый час отнять. Да еще и с его собственной жизнью».

Но по мере того как усиливался гнет, росло и сопротивление народа. Крестьяне вступали в бой с жолнерами;[10] спасаясь от преследований, семьями, а то и селами уходили за границу; с Украины в Варшаву летели доносы: среди хлопов все больше усиливается мятежный дух. В этих доносах утверждалось, что хлопы уже запаслись ножами — присылались даже рисунки ножей, привезенных якобы маркитантами из России, — и ждут прихода москалей, чтобы начать «різати панів».

Король издавал универсалы, в которых разрешалось «прибегать к военной силе для удержания подданных в зависимости и послушании у своих панов». На границах было приказано расставить военные команды, чтобы задерживать беглецов. Но генерал Костюшко, в подчинении которого были эти команды жолнеров, писал, что нет никакой возможности удержать крестьян от ухода за границу.

В такое время проходили детские годы Устима. Рос он, как и все крестьянские дети. Когда был совсем маленьким, мать, идя на

панщину, брала и его с собой. Клала она своего Устимка на колючие панские снопы где-то в тени под скирдой и украдкой бегала кормить. И не колыбельные песни мать пела ему ночами. Нет. Сидя за прялкой — прясть для пана приходилось по ночам, — она пела о том, как Хмельницкий со своими славными козаками бил панов, как гайдамаки жгли их.

Когда Устимко подрос и у него набралось столько сил, что он мог поднять узелок с обедом для отца, мать начала посылать его в поле.

— Иды, сынку, помогай батькови, — ласково говорила она, провожая его к воротам, — а то он все один и один…

Как мается отец, Устимко и сам видел. Ложится он спать — отца с панского поля нет еще; встает чуть свет, а отец давно уже уехал пахать. Мать тоже на панщину бежит, едва успев печь истопить. Домой возвращается затемно и не знает, за что хвататься. И все боится, как бы пан розгами не высек.

Пан! Устимко только и слышит: пан забрал, пан продал, пан до смерти розгами запорол. И в разговорах, и в молитвах все поминают пана вкупе с чертом. И Устимке кажется: страшнее пана никого на свете нет. От нечистой силы хоть крестным знамением можно оградить себя, а от пана и это не помогает. Пан если уж вздумает наказать, то одна только смерть, как говорит мать, может спасти от его кары.

Осенью 1791 года, когда Устимке не было и пяти лет, случилось событие, которое всполошило все село. Отец вернулся как-то из корчмы, куда он относил долг, взятый еще на крестины Устима, и сказал прямо с порога:

— Пан продав нас!

— Господи Исусе! — перекрестилась мать. — За яки ж грихы ты нам послав таку кару?

— Завтра и новый господар прыбуде.

— А хто такый?

— Ловчий[11] брацлавский. Пидловский чи Пигловский…

Все принялись гадать: лучше ли будет новый пан или хуже? Такого изверга и кровопийцу, как пан Орловский, видно, и во всем свете не найти. Семь лет только попанствовал, а обобрал так, что хоть по миру с протянутой рукой всем селом иди. Хотя и то верно: какой пан их ни купит, а панщины не убавит. Может, розгами только не будет так свирепо пороть, как пан Орловский. Да и на то надежды мало. Всякий пан смотрит на мужика, как на вола: он его покупает на то, чтобы в ярмо почаще запрягать да кнутом погонять.

И вот понеслось по селу, как грозовые сполохи: «Едут! Новые паны едут!»

Устимко вылетел из хаты и шмыгнул в кусты дерезы, откуда хорошо можно было видеть панов, оставаясь незамеченным. И он увидел их. В большом шарабане сидели пан и пани. Пан дремал, опустив голову. И был совсем не страшный — может, потому, что спал, — маленький, с длинными тонкими усами. А от взгляда на пани у Устимка мурашки пробежали по спине. Она, точно плывущая по воде змея, медленно поводила маленькой головой на вытянутой тонкой шее. Нос у нее был длинный, глаза зло прищурены, губы поджаты. Она, казалось, и ни на что не смотрела и в то же время все видела. Мужики, глядя ей вслед, только затылки почесывали да сокрушенно вздыхали: ну, послал, мол, господь…

За панским шарабаном тащилось несколько возов, нагруженных доверху сундуками и узлами. А замыкала этот обоз свора оглушительно лаявших разномастных собак. Село настороженно притихло: что-то будет.

Вскоре мужики увидели: всеми делами заворачивает не пан, которого интересовала только охота, а пани. А угодить пани Розалии, наверное, не сможет и сам черт. Что ни сделай — все не так. И за все розги. Сама она не бьет, но обязательно стоит рядом с кучером и считает удары, чтобы тот паче чаяния не вздумал отпустить меньше того, что она назначила. Никакие мольбы о пощаде не доходят до ее сердца. Если же кто-либо уж очень назойливо примется упрашивать ее, то еще и добавит десяток розог, чтобы впредь знал, что слово пани неизменно.

Весной 1792 года русские войска заняли всю правобережную Украину. А в следующем году состоялся второй раздел Польши. Подолия отошла к России. Вместе с Подолией были освобождены из-под польско-шляхетского ига Киевщина и Волынь. Речь Посполитая, раздираемая внутренними противоречиями, находилась на грани катастрофы. Тадеуш Костюшко возглавил патриотическое движение, которое ставило своей целью отстоять государственную самостоятельность Польши. Но широкие народные массы, увидев, что шляхта добивается только возвращения своей золотой свободы, не поддержали восстания. Повстанческая армия была разбита войсками царской России. В 1795 году Россия, Пруссия и Австрия произвели третий раздел Польши, после которого феодально-крепостническая Речь Посполитая перестала существовать как самостоятельное государство.

Воссоединение правобережной Украины с Россией было событием большой исторической важности. Оно имело прогрессивное значение прежде всего потому, что избавляло

украинский народ правобережной Украины от национального гнета. Однако в экономическом положении крепостного крестьянства существенных изменений не произошло. Польские паны как были хозяевами имений, так и остались ими. На первых порах шляхта, правда, немного поубавила гонор, но после того как паны увидели, что Екатерина II защищает их права не хуже, чем это делал польский король, они вновь начали вести себя точно удельные князья.

Поселившись в Головчинцах, Пигловские принялись водворять свои порядки. У пани Розалии — а принадлежала она к роду Рациборовских, славившихся своей жестокостью, — был такой крутой нрав, такая ненасытная жадность, что рабы ее воем выли от истязаний и поборов. Помимо пяти, а то и шести дней панщины в неделю, крестьяне вынуждены были — нередко по ночам — возить дрова и камень на известковые заводы, доставлять известь, выполнять тысячи других повинностей, на изобретение которых пани Розалия была неистощима. Она и в воскресные дни гнала все население Головчинцев в лес собирать грибы, ягоды, хмель. Эти «прогулки» в дни панщины не засчитывались.

В народной песне «В Головчинцях на риночку» так описывается жизнь крепостных крестьян родного села Устима Кармалюка:

В Головчинцях на риночку
Осавул гасає.
Усіх селян на панщину
Нагаем заганяє.

Плаче батько, плаче мати,
Плачуть малі діти,
Ніщо їсти, ніщо пити,
Тяжко в світи жити…

Глаза у пани Розалии были очень зорки на чужое добро. Она приметила, что у Якима Кармалюка, кроме дочки, растет бойкий, не по годам развитой сын. И когда Устимке исполнилось семь лет, приказала привести его на работу во двор.

— Дождались помощи, — сокрушенно вздохнул отец.

Мать смахивала слезу концом платка. Отец хмурился. Устимке жаль было их, и жалость эта немного заглушала гнетущий душу страх. Завтра нужно переходить в панский дом. Что его там заставят делать? Гусей пасти? Свиней? Или бегать,

куда пошлют? Ему казалось, что нет большей муки на свете, чем идти в панский дом. Но изо всех сил мальчик старался не показывать, что ему страшно.

Ужинали молча и спать разошлись, не промолвив ни слова. Устимко лежал под дырявым рядном, смотрел в потолок остановившимися глазами, и в голове его роились недетские мысли. И почему он не птица? Взмахнул бы крыльями и улетел к самому морю, где, как говорят чумаки, люди почти вольно живут. Нет, он все равно убежит туда. Подрастет только еще немного, пристанет к чумакам и — поминай как звали. Там уж его никакая пани не найдет…

Всю ночь мать не смыкала глаз. И как только за лесом проступила бледная полоска зари, она встала и подошла к сыну. На загорелом, обветренном лице Устимка блуждала улыбка: ему снилось, что он идет с чумаками в вольные края. Мать осторожно погладила русые вихры.

— Сыну мий, — глотая слезы, шептала она, — едына дытыно ты моя, едына надия ты моя…

Устимко не слышит ее. Только смуглые щеки его чуть подрагивают от падающих на них горячих материнских слез.

— Вставай, сынку, до пана пора…

Слово «пан» проникает в сознание Устимка даже сквозь пелену сна. Он резко приподнимается, испуганно смотрит по сторонам: где пан? Но, увидев, что возле него сидит только мать, опять падает на подушку, шепчет:

— То вы, мамо…

Мать испуганно тормошит его, торопливо одевает и, взяв за руку, ведет на панский двор. Отец стоит в воротах и потерянно смотрит им вслед. А потом, махнув рукой, — прощай, мол, сынку! — круто поворачивается и уходит во двор, боясь, видимо, чтобы люди не увидели непрошеную слезу.

Вот и панская усадьба. Во дворе метушатся люди, остервенело лают собаки. Устимко и мать стоят у панского крыльца, как нищие у церкви, но на них никто не обращает внимания. Наконец из дома в сопровождении эконома выплывает пани. Мать падает на колени и Устимка толкает в бок: кланяйся, мол. Устимко становится на колени, опускает вихрастую голову, но не метет чубом землю, как это принято делать в таких случаях. Пани замечает, что он исподлобья поглядывает на нее. Она делает шаг к нему и, присев, бьет мальчика со всего маха по щеке.

— Пся крев! Як стоишь, быдло!

Устимко до крови закусывает губу, втягивает голову в плечи, ожидая нового удара. Но пани бьет не его, а мать. Кричит,

повышая голос до визга:

— Як учила его? Розог захотела?

Мать шепчет, чтобы Устимко кланялся и просил прощения, а у него спина не сгибается, язык не поворачивается.

Мать умоляет пани не наказывать их. Она клянется богом, что Устимко послушный. Это он от перепуга онемел. Пани любит, когда перед нею трясутся от страха, и сменяет гнев на милость. Мать уходит, а Устимко остается у крыльца, окруженный панскими собаками. Ему хочется кинуться за матерью, ему хочется бежать куда глаза глядят, но он знает: так делать нельзя. Его поймают, высекут и опять приведут сюда. И отец и мать наказывали ему: «Все терпи, сынку. Так уж богом заведено: пан панует, а мужик горюет…».

В памяти народной сохранился рассказ, из которого видно, как невыносимо трудно жилось маленькому Устимке в панском доме. Пани Розалии мало было того, что она заставляла его работать до изнеможения. Она еще требовала, чтобы он «підслухував, що кажуть про панів старі наймити, і доносив їй». Устимко отказался это делать, за что и попал в немилость. Пани Розалия жестоко порола его за все: и за то, что он делился куском хлеба с нищими; и за то, что никак не соглашался быть доносчиком; и за то, что кланялся не так подобострастно, как того ей хотелось.

ПЕРВЫЙ БУНТ

Розсердився пан на мене
Та й віддав в солдати…

Кармалюку, вражий сину,
Що з тобою буде?..

Село Головчинцы стояло недалеко от шляха, по которому день и ночь скрипели чумацкие возы на город Бар, а оттуда на Каменец-Подольск. Места тут были глухие: болота, трясины, дремучие леса, тянувшиеся на сотни километров. Здесь и находили себе приют беглые крепостные, рекруты, солдаты. И часто по ночам маленький Устим просыпался от стука в окно. Отец, не спрашивая, кто и откуда, шел открывать. Мать, не зажигая лучины, доставала из печи остатки борща, отец вносил охапку соломы, ибо больше нечего было постелить. Все это делалось осторожно, чтобы никто не увидел и не донес пану: того, кто давал приют гультяям (так шляхта называла беглых крестьян), пороли розгами. Но никакие кары не могли заставить крестьян выдавать панам собратьев своих. Они всячески помогали им, говоря: «Хай собі люди йдуть…».

И люди шли: и одиночками, и семьями, и даже целыми селами, спасаясь от неминуемой гибели.

Уход в Новороссийский «рай и в Бессарабию принял массовый характер. Крестьяне, как пишется в официальных справках, побросав все, «в одному одязі» шли искать лучшей доли. Одни поселялись в черноморских степях, где был большой спрос на рабочие руки, а потому и эксплуатация не такой жестокой; другие нищенствовали до тех пор, пока их не хватали и не угоняли в Сибирь как бродяг; третьи, собравшись в загоны, громили усадьбы своих ненавистных врагов.

Борьба крепостных крестьян Подолии приобретала все больший размах.

Маленький Устим слушал рассказы людей, ставших на путь борьбы, и в его душе рос и креп дух непокорности. А еще больше историй о гайдамаках, о вольных землях Устим слышал у костра, гоняя лошадей в ночное. Ему часто снилось то, о чем велись — разговоры: мчится он на лихом коне. За ним громом раскатывается гул копыт гайдамацких коней. Подлетает он к панскому дому и зажигает его со всех сторон…

В панском дворе не было такой черной работы, которая бы обошла Устима. Винокурня считалась сельской каторгой: там, в

духоте и сырости люди работали буквально круглые сутки, нередко обваривались кипятком и паром. В этот ад и послала пани Розалия Устима, как только он вышел из пастушечьего возраста. Но Устим рос парнем сильным, он стойко переносил все муки. В девятнадцать лет он отрастил усы, волосы стриг «під макітру» и больше походил на запорожского казака, чем на крепостного пана Пигловского.

Устим полюбил дивчину своего села Марийку Щербу. Родные согласились на свадьбу. Нужно было идти к пани Розалии, падать ей в ноги и просить разрешения жениться. Устиму очень не хотелось идти на поклон к своему злейшему врагу, но делать было нечего. И пошел он с невестой на панский двор.

Долго стояли у крыльца, не смея зайти в дом, и, как только пани Розалия вышла, упали перед нею на колени.

— Цо? Цо то есть?[12] — гневно воскликнула пани Розалия.

— До мосци вашей, наияснейшая пани, — с трудом выдавил Устам. — Благословите…

— Цо-о?! Геть з очей моих!

Прогнала пани Розалия и родных Устима. «Тоді Кармалюк самоправно оженився», — говорится в одном из народных рассказов.

Было это в 1806 году. Священник, видимо, обвенчал молодых в то время, когда паны отвозили своих сыновей в Варшаву и, как правило, гостили там у родственников всю осень. Такое нередко случалось, что православные попы, которых презирала шляхта, исповедовавшая католицизм, за определенную мзду венчали крестьян против панской воли, чтобы насолить недругам своим. Особенно независимо начали вести себя православные священники после присоединения Подолии к России, ибо высшая власть была на их стороне.

Но ни женитьба, ни рождение сына Ивана (1807 год) — ничто не могло спасти Устима от солдатчины. Пани Розалия решила во что бы то ни стало отомстить непокорному хлопу. То, что у него были жена и сын, не смущало ее: хорошая взятка — сильнее законов. Тем более что за рекрута казна платила пятьсот рублей.

В ожидании сдачи в рекруты Устим прожил пять лет.

А летом 1811 года пани Розалия приказала заковать Кармалюка в колодки и запереть в погреб. Осталось лишь ждать офицера с командой солдат — рекрутов уводили под конвоем, как арестантов. Но Устим был не из тех, кто сдавался без боя. И когда пани Розалия уже торжествовала победу, ей доложили:

— Кармалюк бежал!..

Все лето Устим, как показывали на допросе его земляки, «шатался неизвестно где». За время этих скитаний он понял:

участь бродяги ничем не лучше рабской, ибо жизнь под гнетом постоянного страха, что тебя схватят и погонят в Сибирь, тоже не жизнь. Дома без пана шагу не ступишь, а здесь без сотского да урядника. Всем подай «письменный вид», а нет его — ступай в острог.

Глубокой осенью, когда рекрутский набор закончился, Кармалюк «возвратился на грунт». Но недолго прожил Устим дома: ранней весной следующего года к винокурне, где он работал, подъехал офицер с командой солдат и объявил ему, что отныне он, как рекрут, переходит в его полное подчинение.

Под конвоем двух солдат Устим пошел собирать пожитки. Мария упала в ноги солдатам и, рыдая, стала умолять их не забирать Устима. Солдаты попятились к порогу, бормоча, что они бы всей душой, да ведь приказано. Устим осторожно поднял Марию, властно сказал:

— Помогай збыратыся…

Устим собирался так спокойно и деловито, что это удивило даже видавших виды солдат. Весть о том, что пани «забрила лоб» Кармалюку, быстро облетела все село, и к его хате начал сходиться народ. Бабы голосили, точно по покойнику. Мужики чесали затылки и тяжко вздыхали. У Марии все валилось из рук, ей хотелось повиснуть на шее Устима и никуда не отпускать его, но она сдерживалась, встречая строгий взгляд его серых глаз.

Наконец завязали торбу, и Устим, закинув ее на плечо, шагнул к порогу. Мария упала перед ним, цепко обхватила колени и так заголосила, точно его в могилу опускали. Солдаты смущенно переглянулись и вышли из хаты. Устим поднял жену, заговорил тихо и ласково:

— Прощай, доле моя!..

— Я умру одна…

— А Иванко? Вин же без тебе пропаде! — Устим взял сына на руки, поцеловал. — Не горюй, сынку!

— Я не горюю! — ответил Иванко, который не понимал, что происходит.

— От и добре! А пани Розалии отольются наши слезы…

В ПОЛКУ

Не захотів Кармалюк
Цареві служити,
Тай пішов в темний ліс
Хлопцями радити…

«Завзялась она и отдала меня от жены и детей в солдаты. И я на нее завзялся».

Из этих слов, сказанных Кармалюком солдату Игнату Савову, видно: причиной отдачи его в рекруты было одно — месть пани Розалии. «Завзяться» — значит «взъестся», «задаться какой-нибудь целью». Но из этих же слов явствует и другое: Кармалюк не считал себя побежденным. Шагая под конвоем в полк, он уже строил планы побега.

Кармалюку было двадцать пять лет. Ровно столько же предстояло служить в армии. Привезли его в Каменец-Подольск и зачислили в 4-й уланский полк. Командир полка осматривал рекрутов, как барышник лошадей. Рослый, плечистый Устим стоял правофланговым, и командир полка начал с него. Остановился шагах в двух от Устима, окинул его взглядом с ног до головы. Довольно задвигал нафабренными усами: стать Устима явно пришлась ему по нраву.

— Фамилия?

— Кармалюк, ваше превосходительство! — четко ответил Устим.

— Что такое? Открой рот! Почему зубов нет? Как взяли такого?

— Я вам докладывал, ваше превосходительство, — поспешно ответил офицер, привезший рекрутов.

— А-а… Ну, черт с ним! А это что за тюха? — шагнув к следующему, грозно вопрошал командир полка. — Да что у меня — богадельня? Ты что, скотина, стоишь, точно спишь! — двинув солдата кулачищем в скулу, продолжал он. — Открой рот! Да не язык, а зубы! Зубы покажи! Ах, канальи ляхи! Отдают в рекруты всякий сброд…

После командира полка принимал рекрутов командир рекрутской роты. Но то все были невинные шутки по сравнению с той «чисткой зубов», которую устроил им фельдфебель. Он сам закончил «палочную академию» в кантонистском батальоне и всех воспитывал в этом духе. Выстроив роту, он прохаживается перед «фрунтом» и, точно споткнувшись возле Устима, орет, угощая его зуботычиной:

— Ты как смотришь, протоканалья! Выше голову, образина ты эдакая! И веселее! Веселее смотри! Что-о?! Ты еще хмуриться вздумал? Да я тебя, мерзавца, научу, как на начальство смотреть! — Фельдфебель бьет по зубам так, что губу рассекает до крови. Устим сплевывает кровь, но фельдфебель еще сильнее бьет. — Замри, подлец! В строю плевать не положено! Прохоров!

— Слушаюсь! — вытягиваясь в струнку, бойко отвечает старый служака.

— Покажи этому протоканалье, как на начальство надо по уставу смотреть!

Прохоров проворно вылетает из строя и, тараща глаза, «пожирает» ими фельдфебеля. Фельдфебель остается доволен, приказывает Устиму:

— Повтори, мерзавец!

Устим довольно точно копирует Прохорова. Но от фельдфебеля не укрывается презрительная улыбка, мелькнувшая в уголках губ Устима. Он со всего маха бьет его по уху и грозно обещает:

— Я тебя, подлеца, научу уму-разуму! Ты у меня будешь знать, как на начальство смотреть!

Когда фельдфебель, «почистив» всем рекрутам зубы, отпустил роту в казарму, старые солдаты кинулись искать земляков. К Устиму подошел маленький солдатик и, всплеснув по-бабьи руками, радостно воскликнул:

— Матинко ридна! Устим!

Кармалюк смотрел на маленькое, украшенное синяками лицо солдатика и не мог вспомнить, где он его видел. Что-то было в этом измученном, побитом лице и знакомое и чужое.

— Люди добрые! Глядить-ко, земляка не признает!

— Данило! — воскликнул Устим, узнав, наконец, кто стоит перед ним. — Ну, изменился ты…

— Через три рокы тебе тоже и маты ридна не узнае, — ответил Данило.

Данило Хрон был родом из села Овсяников, которое стояло недалеко от Головчинцев. Он уже четвертый год тянул солдатскую лямку. Пытался было удрать, его поймали и прогнали сквозь строй в пятьсот человек. Он увидел, что шпицрутены не так уж страшны, как о них говорили старые служаки, и начал подумывать о новом побеге. Обо всем этом в первый же вечер Данило рассказал Кармалюку. Он хвастался и врал неудержимо. Все унтеры, в том числе и фельдфебель, его друзья. И вообще он тут живет, как вареник в масле, только и того, что по дому тоска гложет. Там ведь он оставил любовь свою. Она поклялась, что будет ждать его до окончания срока службы, да ему-то еще

двадцать два года маршировать. За это время можно сто раз умереть.

Устим слушал Данилу, а перед глазами проплывала своя жизнь. Как было трудно ему! Как тягостно под властью пани Розалии! Думалось, ничего на свете нет хуже! А вот надели на него новое ярмо, и оно оказалось во сто раз хуже того, в котором он ходил.

И началась муштра. Не так вытянул носок, печатая церемониальный шаг, — по уху! Споткнулся, несясь в атаку на чучела, — на гауптвахту. Вздумал что-то возразить — под розги. А командир полка имеет право отпустить солдату восемьсот розог, что было для многих почти смертельной дозой. И выходит: как ни старайся — все равно и зуботычин нахватаешь, и на гауптвахте посидишь, и розог — а то и шпицрутенов! — отведаешь, ибо тот, как гласил неписаный закон, не солдат, «то не испытал на своей шкуре всю эту «науку». Бить и учить, учить и бить — было одно и то же. В ход пускались не только кулаки, но и ножны, и барабанные палки — все, что попадалось под руку. Старые солдаты говорили:

— Вот что значит, братец, настоящая служба: бьют и плакать не дают. Пан тебя порет, так кричи и ругайся, сколько твоей душе угодно, а здесь — молчок. А ежели хоть пикнешь — еще подсыпят. Не зря ведь говорят, что черти в аду не телячьи, а солдатские шкуры на барабаны натягивают. Вот шкуры-то наши начальство и отделывает, чтобы угодить чертям…

Устим не умел «пожирать глазами» начальство в то время, когда оно било его по зубам только потому, что чесался кулак, и ему попадало больше других. У него была хорошая выправка, но в выражении лица, во взгляде серых глаз не чувствовалось страха и того унизительного заискивания, которого так настойчиво добивались от рекрутов офицеры. За это его и били нещадно.

— Смотри веселей, скотина! Больше игры в носках, протоканалья! Отставить! Шаг-гом… арш! Отставить! Ты каким маршем идешь? Церемониальным! Так все жилки, истукан ты эдакой, в теле твоем должны выражать почтение к начальству!

Отработали «фрунт» в пешем, затем в конном строю. А потом опять все сначала. Ружейных приемов сорок восемь. Да каждый прием дробится на темпы, а темпы — на подразделения. Ружье нужно держать в левой руке — а оно такое тяжелое, что рука немеет, — да еще прямо, чтобы штык по позвонку вверх смотрел. А начнут осматривать снаряжение, так душу наизнанку только и не выворачивают. Уж в какой чистоте Устим ни старался все держать, все равно найдут, к чему придраться и по зубам дать.

— Кармалюк! Почему под курком пыль? — кричит ротный и бьет его со всего маха по скулам. — Я тебя научу, как лелеять данное тебе оружие. Открой ранец! Зачем сюда всякой дряни напихал? — выбрасывая трубку и табак, снова кричит он. — Повернись, скотина, покажи мундир! Расстегнись! Почему исподняя рубаха грязная?

— Только вчера стирал, ваше благородие!

— Молчать! Фельдфебель!

— Слушаюсь, ваше благородие!

— На три ночи под ружье!

Отбой. Солдаты падают на нары и засыпают как мертвые. А Устим стоит в шинели, с тяжелым ранцем за плечами и держит винтовку на руке. Ночь, как на грех, жаркая, душная. Пот катится градом, заливает глаза, невольно вытравляя из них горько-соленую слезу. Но шевелиться нельзя — стоять приказано по команде «смирно».

Попав в солдаты, Устим впервые в жизни взял в руки ружье. Оно на первых порах было причиной многих его бед: не так вычистил, не так смазал, не так на плечо взял, не так к ноге поставил… Казалось, ему и дали это ружье только затем, чтобы ловить на ошибках и наказывать. Но наказания за то, что он не умеет с ружьем обращаться, не причиняли ему той боли, которую он испытывал, когда его били за то, что не мог «пожирать глазами» начальство. Он старательно изучал ружье, ибо знал: как бы судьба его ни сложилась — а он многое передумал за это время, — с оружием ему не придется расставаться, видимо, всю жизнь.

Барабан забил зарю. Полусонные солдаты ошалело заметались по двору. Устим вздохнул: одну ночь одолел. Теперь весь день его будут муштровать и угощать зуботычинами, а потом опять поставят под ружье. И сколько же еще ночей стоять так вот, не смея шелохнуться, с онемевшей от тяжелого ружья рукой? А маршировать и колоть чучела? Вечность! Да, пани Розалия знала, как заживо его похоронить.

— Рот-та, становись! — раздается громкий голос фельдфебеля. — Ша-агом… арш!

И загухали тяжелые солдатские краги: гуп-гуп! Гуп-гуп! Молотят грешную землю, точно сотня цепов на току, перетирая ее в едкую пыль. И так изо дня в день, из года в год. И сколько же пота солдатского за двадцать пять лет впитывает эта земля! Море! На этом плацу, как на солончаке, сотни лет, наверное, будет расти один чертополох.

Прослужил Устим, видимо, не больше месяца и в конце

апреля бежал.

ПЕРВЫЕ ПОЖАРЫ

То не вітер, ой-бо то не хмари,
Не з блискавицею грім,
То плаває у пожарі
Білосніжний панскій дім…

Это была весна грозного 1812 года. В то время когда полчища Наполеона, заняв Польшу, готовились вторгнуться в Россию, Кармалюк уже собирал в лесах свой первый загон.

В песне «То не місяць сходить» рассказывается: Кармалюк собрал «на нараду» своих хлопцев и спрашивает их:

Ой ви, хлопці, ви, молодці,
Що будем робити?
Чи будемо панів слухать,
А чи будем бити?

И хлопцы-молодцы отвечают своему атаману:

Ой, не хочем панів слухать,
Панщини робити,
Скажи слово, Кармалюче,
Будем панів бити.

По Тильзитскому миру, заключенному Александром I с Наполеоном в 1807 году, было образовано герцогство Варшавское, которое во всем зависело от Франции. Но польские паны видели в этом акте желание Наполеона возродить великую Речь Посполитую. И как только Наполеон, под властью которого была уже почти вся Западная Европа, двинул свои войска к границам России, польские паны начали закатывать пиры в честь своего гения спасителя. Они были уверены, что России пришел конец. Молодые шляхтичи садились на коней и мчались помогать французам бить москалей. Для снаряжения этих «храбрых рыцарей» нужны были деньги, и паны принялись выколачивать их из своих хлопов.

Войска Наполеона перешли русскую границу в июне 1812 года. Военные действия Подолии не захватили. Все лето бои велись на территории Литвы и Белоруссии, а на Подолии жизнь

продолжала идти так, точно войны и не было.

Еще в начале мая по селу Головчинцам поползли слухи: в лесу появились гайдамаки. А недели через две к пани Розалии примчался перепуганный арендатор корчмы Хаим Лейбович.

— Ясновельможная пани, что я вам скажу!.. Что я вам скажу!..

— Цо? Цо стало?

— У меня Кармалюк с гайдамаками был.

— Цо-о?! — испуганно протянула пани Розалия. — Не плець глупства!

— Был! Ой, побей меня бог, был. Я уже лег спать, как слышу — стучат. Я думал, какой-то проезжий пан. Иду открывать. Отворил дверь и попал им прямо на пики! Ай, как я только остался жив…

Хаим рассказал, как гайдамаки, забрав у него деньги (всего семнадцать рублей), выпили, закусили и приказали: передай, мол, пани Розалии, пусть ждет в гости.

— Чтоб я так был жив! — закончил Хаим свой рассказ. — Я бы не осмелился вам, ясновельможная пани, нести эти слова, но они грозились, что голову снимут, если не передам…

Долго пани Розалия, забыв про шляхетскую спесь, расспрашивала Хаима о гайдамаках, но он ничего нового сказать не мог.

Пан Пигловский помчался за командой солдат в Литин. В панике пани Розалия забыла наказать мужу, чтобы он вернулся в тот же день. Вспомнив об этом, она пришла в ужас от мысли, что он может запить, и ей всю ночь придется быть в доме одной. Она с ума сойдет! На хлопов положиться нельзя. Они не только не защитят ее, а еще и Кармалюку помогут. Враги! Одни лютые враги окружают ее.

Земский исправник Улович дважды посылал нарочного в село Березное к пану Сераковскому, на которого крестьяне писали жалобу за жалобой. Но полковник бывших польских войск и не собирался, видимо, приезжать в Литин. Складывать и дальше в кучу жалобы эти было уже невозможно, ибо сам губернатор требовал объяснений, и Улович собрался ехать к нему.

Был уже готов экипаж, как вдруг в кабинет исправника ввалился пан Пигловский. Упав в кресло, он выдавил, с трудом ворочая языком:

— Гайдамаки… Гайдамаки…

— Какие гайдамаки? — изумился исправник. — Где?

— В корчме…

Пан Пигловский был настолько пьян (всю дорогу он тянул из бутылки для храбрости), что с большим трудом смог объяснить,

что произошло. Исправник не придал его рассказу особого значения, решив, что пан Пигловский, будучи вечно пьян, несет чепуху.

— Да полно вам! Какие гайдамаки? Откуда они взялись?

— Як маму кохам!.. — твердил пан Пигловский. — Гайдамаки! Живые гайдамаки…

Пани Розалия весь день нетерпеливо поглядывала на дорогу, но супруг не появлялся. Дворовые о чем-то таинственно шептались, по селу, как доносили шпики, из хаты в хату передавались все новые подробности о ночных гостях. Многие не вышли на работу, хотя был день панщины. Случись такое в другое время, пани Розалия давно бы выпорола их, а сейчас боялась и заикнуться об этом. Приказала только эконому записать имена всех ослушников, решив расправиться с ними, как только вернется муж с солдатами.

Но подходил вечер, а пан Пигловский не возвращался. Пани Розалия ходила из комнаты в комнату по своему большому дому, и в каждом темном углу ей чудились гайдамаки с косами. А в корчме в это время гудели, как потревоженные шмели, мужики. Они знали, что пан помчался в Литин, а пани боится из дому выйти, и радовались этому, как дети. Они вновь и вновь просили Хаима рассказать, как гайдамаки выглядели, что они велели пани передать, как она испугалась, когда он прибежал к ней. Хаим, видя, с каким одобрением мужики относятся к гайдамакам, начал все больше и больше привирать и в конце концов стал рассказывать, что он принял их, как дорогих гостей.

Проезжие, останавливавшиеся в корчме, несли слух о гайдамаках по своим селам, и он распространялся, как волны от брошенного в воду камня.

Борьба гайдамаков с польскими панами имела столетнюю историю.

После воссоединения Украины с Россией в. 1654 году все земли, лежавшие на правом берегу Днепра, остались под властью Польши. Шляхта, вернувшись в свои разоренные, опустевшие имения, с особым ожесточением и злорадством принялась там «хозяйничать». Но народ не мог уже безропотно сносить тот гнет, против которого он столько лет боролся с оружием в руках. В первых десятилетиях XVIII века на правобережной Украине все чаще начали появляться гайдамацкие загоны. Ядро их, как правило, составляли запорожские казаки, а вокруг них группировались беглые крестьяне. Из казаков определялись и атаманы — люди бесстрашные, искушенные во всех тонкостях партизанской борьбы.

Переправлялся такой загон через Днепр и вихрем мчался по Подолии и Волыни на своих быстроногих конях, разоряя и сжигая поместья. Воинские команды жолнеров ничего не могли сделать. «Один гайдамак, — с горечью признавался ксендз Китович, — ворвавшись между поляками, мог в один момент разогнать их сорок человек, нанеся каждому из них или рану, или смерть». Народ с радостью встречал гайдамаков и всячески помогал им. А нередко, пользуясь их поддержкой, все село бралось за косы и громило дом своего ненавистного пана. «Пользуясь нынешними временами буйствующих гайдамаков, — сообщается в жалобе одного вельможного стольника, — подданные напали ночью и нанесли ущерб».

В 1775 году русский царизм ликвидировал Запорожскую Сечь, и партизанская борьба гайдамацких загонов, лишившись главной опоры своей, начала стихать. Однако совсем она не прекратилась. Нет-нет да и вылетали из бескрайних лесов гайдамацкие загоны. Но теперь, ядро их составляли не казаки, а беглые солдаты. Крестьяне же чаще всего днем пахали землю, а ночью, взяв косы, помогали гайдамакам. А когда шляхта устраивала облавы в лесах, то крестьяне, рискуя жизнью, прятали своих товарищей по борьбе, что делало гайдамаков неуловимыми.

Кармалюк тоже взялся за этот дедами и прадедами испытанный метод партизанской борьбы. На первых порах ядро загона составляли Хрон и такой же, как и они, беглый солдат Удодов. Связь с крестьянами сел они держали через земляка Устима — Ткачука. Район действия отряда был невелик: он ограничивался Головчинцами и ближайшими селами. Да и вел себя в первое время Кармалюк довольно миролюбиво. Он часто бывал дома. Пигловские, зная это, боялись сами трогать его, а чтобы вызвать команду солдат, на то у них не было веских оснований. Им приходилось мириться и с тем, что крестьяне уклоняются от панщины. Но как только войска Наполеона двинулись в глубь России, Пигловские тоже перешли в наступление. К ним на помощь поспешила вся окрестная шляхта.

На стороне Пигловских было, конечно, значительно больше сил, чем у Кармалюка. Да к тому ж осенью в Одессе вспыхнула эпидемия чумы и перекинулась на Подолию. В селах, на дорогах — всюду стояли заставы, которые не пропускали никого без справки, что человек идет из тех мест, где нет чумы.

В таких условиях Кармалюку стало очень трудно вести борьбу, и он ушел. Куда? Это, к сожалению, неизвестно. Кочует он где-то со своими хлопцами всю зиму, а ранней весной следующего года вновь появляется в родных местах.

Обстановка к этому времени изменилась в его пользу. Зима заглушила эпидемию чумы. Великая армия Наполеона была разбита и изгнана из России.

Народ, изгнав французских оккупантов из своей страны, не хотел продолжать войну в чужих краях, и мобилизация рекрутов, рабочего скота, подвод начала встречать со стороны крестьян все увеличивавшееся сопротивление. Польские паны, увидев, что их надежды на возрождение Речи Посполитой рухнули, приуныли.

В Головчинцах и окрестных селах из уст в уста передавали новость: в селе Дубовом гайдамаки напали на богача Федора Шевчука. Избили хозяина, забрали деньги и скрылись. Никто того точно не знал, но начали поговаривать, что это Кармалюк вернулся со своими хлопцами и теперь-то он исполнит обещание навестить пани Розалию. Да и другим панам, говорили мужики, несдобровать.

Недалеко от села Дубового на собственном хуторе жил Иван Сало. Он зажал в кулак все село: не было в Дубовом семьи, которая бы не числилась в его должниках. Взаймы давал он щедро, но проценты драл бешеные. Сам он давно не ходил за плугом, не махал цепом. Все это делали батраки. Он арендовал мельницу, корчму, в его руках был весь извоз. За что мужик ни хватится — смолоть ли, купить ли соли, — нужно было перед Иваном Салом шапку ломать. Жадный, жестокий и страшно мстительный, он беспощадно расправлялся с теми, кто хоть как-то мешал ему. И Данило Хрон угодил в солдаты только за то, что не смог вернуть долг ему. Данилу отдали в солдаты, а тот, кто должен был идти, уплатил за него долг Салу. Данило поклялся отомстить и за себя и за других. И когда он первый раз убежал, то пошел прямо в Дубовое. Но кто-то шепнул Ивану Салу, что Данило вернулся и похваляется пустить ему красного петуха. Сало нагрянул к Хрону, связал его и отправил в Литин. Первым помощником его был такой же мироед, как и он, Федор Шевчук.

И вот Федор поплатился за это. У него не только добро взяли, но и выпороли так, что он не может и сесть. Пластом на брюхе лежит. И это бы еще ничего. Чужая беда не своя. Но гайдамаки расспрашивали Шевчука об Иване. Много ли у него денег? Где прячет их?

Как услышал Иван Сало об этом, запряг лучших коней и погнал в Литин. Исправник благосклонно принял от него и окорок и бутылки с настойками, а послать полицейских для поиска разбойников отказался. И даже недовольство высказал:

— Что это ты отрываешь меня от дела? Экая важность: кто-то выпорол Шевчука. Да насолил он, видно, своим же мужикам, вот

они и отомстили. А вы гвалт поднимаете: «Разбойники! Гайдамаки!».

Возвращался Иван Сало домой и клял исправника на чем свет стоит. Ну, гад лупоглазый! Подарки забрал да еще и облаял. И все потому, что он мужик. А если бы прикатил какой-нибудь паршивый панок — о, исправник бы все дела забросил и помчался спасать его!

Раньше, бывало, не успеет Иван Сало перекреститься и лечь, как тотчас уснет. А там уж и третьи петухи поют. Пора вставать. После же того как Федора Шевчука разгромили гайдамаки, ночи стали тянуться бесконечно. Ворочается Иван с боку на бок да все прислушивается: не ходит ли кто по двору, не ломает ли замки на амбарах, не выводит ли лошадей из конюшни? Петухи точно заснули: давно бы пора уже второй раз кричать. А может, им уже и шеи посворачивали? Нет, подают голос, слава тебе господи. Теперь, считай, что и эта ночь прошла. Э-э… Кто ж это у двери завозился? Или ему опять послышалось? Нет, стучат! Спаси и помилуй, господи, раба твоего…

Иван слышит: кто-то грохает в дверь и кричит:

— Антон, отвори!

Неужели с пасынком сговорились? Пригрел гадюку на груди! Дверь трещит от ударов, женщины с криком мечутся в одних рубахах по дому. Надо открывать, а то вон грозятся, что еще хуже будет. Надеяться, что кто-то услышит да придет на помощь, бесполезно: до деревни больше версты. И время такое, что спят все как убитые.

— Горпино! — кричит Иван сестре, которая живет у него тоже на положении батрачки. — Иды видкрый! Явдохо, запалы свичку!

Горпина, перекрестившись, идет открывать дверь. Она так боится своего грозного брата, что никакой страх перед гайдамаками не в силах заставить ослушаться его. Три вооруженных человека врываются в дом и вяжут всех. Во дворе, судя по гомону и топоту, мечутся еще человек десять.

— Давно мы уже на тебе важили! — говорят пришедшие, скручивая Ивану Салу руки. — Виддавай, падлюка, награбовани гроши!

Но деньги Ивану дороже жизни. Как ему ни грозили, он твердил одно: нет. Тогда Кармалюк — а пришел действительно он — приказал поджечь каморы, конюшню, коровник, овчарню, ток, стога сена и соломы. Все награбленное добро по ветру пустить, чтобы другим не повадно было. Все бумаги, все книги долговые тоже в огонь! Пусть-ка попробует теперь доказать Иван Сало, кто и сколько ему должен!

Взвился огонь над хутором, и в Дубовом ударили в колокола.

Пора уходить.

Гудят набатные колокола. Люди выбегают из хат, но, увидев, что горит хутор ненавистного Ивана Сала, только рукой машут: туда его добру и дорога!

У Марии все время тревожно было на душе. Она и верила тому, что Устим, как шла молва, сжег хутор Ивана Сала, и не верила. И вдруг прибегает как-то Иванко и шепчет:

— Мамо, пастухи нашого батька в лиси бачылы…

Новость, принесенная пастухами, быстро облетела село. Пани Розалия принялась допрашивать их. Грозилась до смерти запороть розгами, если не скажут правду, но, однако, никого не тронула.

— Эге, — заговорили мужики, — поджала хвост, ведьма! Боится, значит, чтобы и ей не было того, что Ивану Салу.

Пан Пигловский послал нарочного в Лития. Но тот вскоре вернулся: какие-то вооруженные люди, одетые по-шляхетски, встретили его в лесу, забрали письмо и приказали поворачивать назад. Да еще и пригрозили: поедет второй раз, так легко уже не отделается. Велели и пани передать: пусть сидит и ждет их в гости. А вздумает куда-то удирать — все равно перехватят ее на дороге. Тогда, мол, еще хуже будет.

Это произошло днем 30 июня 1813 года. А как только стемнело, из головчинского леса вышла ватага вооруженных людей и, растянувшись цепочкой, направилась к панскому дому.

В первую очередь решили уничтожить винокурню. Сбили замки, внесли в помещение все дрова, что нашлись рядом, и подпалили со всех четырех углов.

За винокурней вспыхнули амбары, скирды на току.

Пани Розалия, как увидела в отсветах зарева пожара гайдамаков с ружьями, пиками и косами, так и грохнулась в обморок. Ее отлили водой, как это делала она, когда кто-нибудь терял сознание под розгами, усадили в кресло. Вылили несколько ведер воды и на пана Пигловского, но он был так пьян, что только отфыркивался, раздувая мокрые усы.

В доме не горит ни одна свеча, но от зарева пожара светло как днем. У пани Розалии от страха перехватывает дыхание. Что они хотят делать с нею? Бросить в огонь? Но она отдаст все деньги и ценности, только бы они даровали ей жизнь. Что ж они так долго молчат? Вот входит еще один. В шляхетской чемерке, в сивой шапке, с двумя пистолетами за широким красным поясом. Йезус-Мария! Кармалюк!..

Взявшись за рукоятку пистолета, Кармалюк долго, в упор, с ненавистью смотрит на нее. Все гайдамаки его замерли, готовые,

как видит она, по первому же его велению схватить ее. У пани Розалии леденеет сердце и отнимается язык. Все. Погибла, погибла она. Будь проклят тот день, когда ей пришло в голову отдать этого Кармалюка в солдаты!

— Что, ясновельможная пани, не узнаете? — с иронической, ничего доброго не обещающей улыбкой спрашивает Кармалюк. — Думали, не доведется встретиться? Что ж молчите? Хлопцы! Несите розги, что пани приготовила для ваших спин.

Пани Розалия, увидев, что два гайдамака кинулись выполнять приказание Кармалюка, упала перед ним на колени.

— Молите бога, что у меня не поднимается рука бить женщину. И запомните, — продолжал Кармалюк, — хоть пальцем тронете кого, тогда пеняйте на себя!

Нагрузив панским добром панские же возы, загон Кармалюка спокойно выехал из Головчинцев и скрылся в лесу.

Исправник читал письмо пана Пигловского и глазам своим не верил. Такого разбоя не было со времен Колиивщины. И, значит, теперь точно установлено: атаманом у этих гультяев — беглый рекрут Устим Кармалюк. Теперь дело дойдет и до губернатора. Посыплются вопросы, предписания: поймать, представить. А где он? А как его поймать? Солдат в инвалидной команде мало, шляхта только на язык храбра, а мужики хоть и пойдут на облаву под страхом наказания, но на них надежда плохая. Кармалюк, как слышно, раздает им все отобранное у панов добро, и они, конечно, скорее спрячут его, чем выдадут властям. Вот это история, вот это задача…

В Головчинцах исправник застал полный разгром. Кроме панского дома, все сгорело. Да и дом уцелел только потому, что в его флигелях жила дворня, которую пожалел Кармалюк. Пани Розалия лежала в постели еле живая. Возле нее хлопотал доктор, а пан Пигловский запил с горя.

Допрос мужиков ничего не дал, ибо все отвечали одно: подожгли, нагрузили возы и уехали. Устим Кармалюк, верно, был. С ним еще Данило Хрон. А остальные все чужие. Из головчинских никто в этом нападении замечен не был. Куда скрылись? В лес. Это, дескать, все видели. А куда дальше, то как же знать: за ними следом никто не шел.

— Скрываете преступников, мерзавцы! — кричал исправник, собрав мужиков возле церкви. — Ну, я докопаюсь! Я вас всех, подлецов, в Сибирь укатаю!

И поп увещевал мужиков. Но они, точно сговорившись, повторяли то, что уже сказали раньше. Исправник понял: от них ничего больше не добьешься. Они или же действительно ничего не знают, или же, боясь мести Кармалюка, не говорят. А может, и

просто все до единого связаны с ним: днем сено косят на панском лугу, а ночью разбойничают с теми же косами. Вот и попробуй после этого поймать Кармалюка.

Разгром Пигловскцх всполошил шляхту. Со всего уезда в Головчинцы ехали паны. Но не столько, чтобы высказать соболезнование, сколько затем, чтобы посмотреть, что натворили гайдамаки. Пани Розалия никого не принимала. Столько рассказов ходило о том, как она валялась в ногах у своего хлопа и просила у него пощады, что ей стыдно было показываться шляхте на глаза.

ПЯТЬСОТ ШПИЦРУТЕНОВ

Не боіться Кармалюк
Ні високих мурів,
Ні кайданів замовлених,
Ні тяжких тортурів…

Минуло лето 1813 года, осень, наступила зима. Кармалюк по-прежнему оставался неуловим. Приходила весть, что его видели в лесу возле какого-то села. Полиция и шляхта мчались туда, а он в это время был со своим загоном в другом конце уезда. Губернатор вызвал литинского исправника Уловича, принялся отчитывать его:

— Что же, сударь мой, творится во вверенном вам уезде? Чем вы занимаетесь? Куда вы смотрите?

— Ваше сиятельство…

— Извольте выслушать, когда вам говорят! — вспылил граф Комаровский. — Меня засыпали жалобами из вашего уезда! Хлопы грабят, жгут имения, а вы сидите сложа руки! У меня вот пан Пигловский только вчера был. Он вконец разорен каким-то беглым рекрутом, его бывшим хлопом. Почему хлоп разбойничает среди белого дня? Почему он держит почти весь вверенный вам уезд в страхе? Это ведь бог знает что! Мы разбили и выгнали из России самого Наполеона, а вы с каким-то беглым рекрутом не можете справиться! Позор! Неслыханный позор…

После возвращения от губернатора исправник рьяно взялся за поиски Кармалюка. Но все усилия его были тщетны. Он уповал на то, что морозы выгонят Кармалюка из леса и его легче будет поймать. Во все экономии были разосланы грозные реляции: «Двору обще с громадою взять предосторожность и принять строжайшие меры в рассуждении преследования и поимки разбойников». В ответ на эти послания экономии писали рапорты, в которых сообщалось, что и днем и ночью организовываются поиски «к поимки оного Кармалюка. Однако никак невозможно его поймать по неизвестности, в которой стороне он скрывается».

— Трусы! — ругал исправник шляхту, читая эти отписки. — Только и умеют хвастаться оружием да танцевать на балах! А как нужно сесть на коней и ринуться на поиски разбойников, из дому боятся без солдат выйти…

В трубе тоскливо воет вьюга. Сугроб снега поднялся уже до маленького окошка. В хате холодно: дров нет, а зима лютая, снежная. Только на печи и можно согреться. Да и то с вечера. К

утру и там замерзаешь. Иванко простыл и так кашляет, что страшно слушать. Но они хоть в холодной, да в своей хате. А где-то Устим?

После того как он сжег все панское добро, Мария ждала: вот-вот постучит в окно. Ночи не спала. Но Устим не появлялся. А когда увидела, как его разыскивают, как следят за ее хатой, и ждать перестала. Успокаивала себя: да и что из того, что он придет? Только душу растравит. А сердце болело, тревожно билось от каждого стука в оледенелое окно.

Иванко заворочался под дырявым рядном, надрывно закашлялся, проснулся. Мария нагнулась к нему.

— Що, сынок, холодно?

— Холодно…

Мария погасила каганец, улеглась возле сына, прижала его иззябшее тельце к себе и не заметила, как уснула. Разбудил ее настойчивый стук в дверь.

— Хто там?

— Я!

— Устим! — испуганно и радостно вскрикивает Мария.

— Видкрывай!

— Видкрываю… — шепчет Мария, шаря непослушными руками по двери.

Наконец она открывает. Из облака снежной пыли, хлынувшей в сени, появляется Устим. Он порывисто обнимает жену, осыпая ее снегом, говорит: — Дай ключ вид сарая. Коня поставлю. Мария достает каганец с печи, ставит на стол, но зажигать боится. Ей кажется, что пани Розалия сейчас же увидит свет и догадается, кто пришел. Поднимет всю дворню, и тогда бог знает что будет. Лучше в темноте посидеть. Но Устим возвращается и приказывает зажечь свет. В голосе его, во всех движениях столько уверенности, что Мария тоже невольно начинает успокаиваться. Она помогает мужу раздеться. Как он изменился! Глаза глубоко запали, меж густых бровей залегла суровая складка. И в улыбке появилось что-то такое, чего раньше не было: лучатся одни глаза, а обветренные губы даже не вздрагивают. Или это так кажется потому, что уголки губ закрыты усами?

— Иванко на печи? — спрашивает Устим, потирая окоченевшие руки.

— Там.

Устим берет каганец, становится на лежанку и долго смотрит на сына. Говорит, возвращаясь к столу:

— Вырис.

— Вырис, — засияв радостной улыбкой, вторит Мария. — Може, разбудыты?

— Хай спыть. А люди що говорять? Мария вздохнула.

— Всього не перескажешь…

— Ну добре! Завтра поговорымо. Я тры ночи не спав. Без мене никому не открывай, — приказал Устим, пряча пистолет под подушку. — Чуешь?

Мария кивнула. Она хотела спросить, надолго ли он приехал, но почему-то не решилась. Если его никто не заметил, когда он пробирался ко двору, то следы его уже заметены, и он спокойно сможет хоть непогоду прожить дома.

Кто и как выведал, что Кармалюк приехал в село, неизвестно, но не успела пани Розалия проснуться, как ей об этом донесли. Она кинулась к мужу.

— Збери хлопов! Звяжй его!

— Любочка моя! — испуганно замахал руками пан Пигловский. — Не цепляй ты его, то и он нас не зацепит.

— Как — не цепляй?! — изумилась пани Розалия. — Он нас разграбил, он меня опозорил, а ты боишься его пальцем тронуть? О Йезус-Мария!

На этот раз истерика пани Розалии не подействовала на супруга. Его страх перед Кармалюком был сильнее страха перед женой. Пан Пигловский не хотел подставлять свою голову под пулю Кармалюка. Он хорошо знал, что дворовые ему не помощники: они хотя и пойдут к хате Кармалюка под страхом наказания, но разбегутся от первого же выстрела, как зайцы. Вдвоем с экономом они ничего Кармалюку не сделают, а значит, придется позорно отступить. Так лучше уж не трогать его. Рано или поздно его все равно схватят власти и загонят в Сибирь, откуда он уже никогда не вернется. Разве послать нарочного в Литин? Но ведь исправник ни за какие деньги не поедет по такой погоде. А ему еще и выговор сделает: почему, мол, не принял мер к поимке. Или еще хуже: чтобы отомстить за то, что он пожаловался на него губернатору, пустит слух, что Пигловский испугался Кармалюка. Нет, пусть лучше Кармалюк уходит той дорогой, какой пришел.

Устим знал: пан Пигловский побоится тронуть его. И он жил дома спокойно, а пани Розалия места себе не находила от страха и бессильной злобы. Арендарю корчмы было строго приказано: с первым же проезжим передать исправнику, что Кармалюк появился в селе. Хаим клялся богом, что исполнит наказ. Да пани Розалия по бегающим глазам его видела, что он врет. Кармалюк, видимо, побывал у корчмаря, и он слова никому не скажет, ибо боится его как огня.

Заседатель Литинского земского суда Гульдин вернулся из

поездки в село Комаровцы и, выпив для согрева в трактире водки, пошел прямо к исправнику. Ему не терпелось посмотреть, как пан Улович примет ту пилюлю, которую он ему поднесет. Не снимая шубы, — пан Улович извинит его за такую вольность, как только узнает, что его привело, — он промчался мимо удивленно глядевших на него канцеляристов прямо в кабинет. Исправник, оторвавшись от бумаг, невольно приподнялся, точно увидел перед собой начальство.

— Извините, ваше благородие, — с ухмылкой начал Гульдин, — я бы не стал отрывать вас от срочных дел, но…

— Что стряслось? — не выдержав затянувшейся паузы, спросил исправник, поняв, что Гульдин принес ему необычную новость.

— Где, вы думаете, Кармалюк? — вместо ответа спросил Гульдин.

— Поймали? — обрадовался исправник. — Как вам удалось? Да снимайте шубу…

— Пока не поймал, но могу это сделать, если вы мне дадите хоть десяток солдат.

— Где ж это вы его нашли?

— Да у жены!

— Как то есть? — удивился исправник.

— А так. Вторую неделю он уже преспокойно живет дома.

— Не может быть! Куда же пан Пигловский смотрит?

— Вот этого я вам сказать не могу.

— Черт знает что! Немедленно снаряжайте туда отряд!

По дороге на Литин, в селах, Устим расставил своих хлопцев. Корчмари там тоже были свои люди. Ни одно начальство не могло проехать мимо корчмы в такую непогоду, чтобы не остановиться и не погреться. А у Хрона и Удодова были Добрые кони, и Устим жил дома спокойно, не боясь, что враги нагрянут неожиданно. Но, ложась спать, он все равно клал пистолет под подушку. Спал так чутко, что стоило Иванку слезть с печи, как он настороженно приподымал голову.

Почти каждый вечер Устим уходил куда-то, а то и уезжал на коне и возвращался нередко под утро. Мария не решалась спрашивать его, где он бывает, а он ничего не говорил ей. Был он постоянно чем-то озабочен и молчалив. Только играя с Иванком, беспечно смеялся, и его серые глаза радостно лучились. У Марии, глядя на них, тоже теплело на сердце, и она забывала, что в углу вместе с ухватами стоят ружье и пика.

Беда ходила, как казалось Марии, все время рядом. Выла пурга в трубе — Марии слышался в этом вое голос беды. Она ночи не спала, не в силах сладить с терзавшим душу страхом.

Часами, сдерживая тяжкие вздохи, она сидела возле Устима и смотрела на родное лицо, которое и во сне было сосредоточенно-напряженным, хмурым.

Мария робко проводит рукой по густым русым волосам, и Устим, как от удара, резко вскидывает голову, просовывает руку под подушку.

— Устыме, це я, — удерживая его руку, шепчет Мария.

— А що таке? — окинув взглядом оледеневшие окна, спрашивает Устим. — Хтось стукав?

— Ни…

— А ты чого не спыш?

Мария молчит. Устим знает, что ее мучит, и не спрашивает. Он сам в эти дни тысячи раз передумывал свою жизнь, но неизменно выходило одно: без оружия он шагу не может ступить, часу прожить. И так будет уже до конца дней его.

— Устыме, як же дали? — собравшись с духом, первой нарушает молчание Мария.

— А ты як думает? — вопросом на вопрос отвечает Устим, поняв, что Мария, заводя этот разговор, решилась о чем-то просить его. — Ну що ж мовчиш?

— Страшно. Сердце замырае, як подумаю…

— Яки кары меня ждуть? — подсказывает Устим, видя, что у Марии нет сил выговорить эти страшные слова. — Так? И що, по-твоему, я повынен робыты? Падаты в ноги пани Розалии?

— А може, вона и… простыть, — с трудом, еле слышно выдавливает Мария.

Долго молчал Устим, закрыв глаза и сурово нахмурив брови. Крупное, резко очерченное лицо его словно окаменело, ни один мускул не дрогнет. Мария знает: это верный признак того, что он с трудом сдерживает закипевший на сердце гнев. Она уже не рада, что завела этот разговор.

— Просыты? — говорит Устим, точно думает вслух, и вдруг, приподнявшись на локте, гневно спрашивает: — А за що мени просыты? За те, що вона видняла у меня и тебе и сына? За те, що зробыла мене вичным бродягою?

Вечный бродяга! Вот он и оказал то, о чем Мария боялась подумать. Всю жизнь, значит, за ним будут охотиться, всю жизнь он будет спать с пистолетом под головой.

— Мени нема спокою, — продолжал после долгого молчания Устим. — Ну и паны не будут спаты.

Устим еще что-то говорил, но слова его не доходили до сознания Марии. В ее голове, путая все мысли, крутились только два страшных, как сама смерть, слова: вечный бродяга.

Долго молчали. Ворочался и что-то бормотал во сне Иванко.

Заунывно выла в трубе вьюга. Мария думала, что Устим уже уснул, как вдруг он настороженно приподнялся, выхватил из-под подушки пистолет. В ту же минуту стукнул кто-то три раза в окно и, выждав немного, стукнул еще два раза. Устим торопливо оделся и, сунув пистолет за пояс, пошел открывать. Он долго с кем-то говорил в сенях — Мария, как ни прислушивалась, не могла разобрать ни слова, — а вернувшись, коротко бросил:

— Збырай в дорогу!

И уехал, не разрешив даже до ворот проводить. Мария стояла среди хаты, точно окаменелая. Топот удаляющихся копыт вывел ее из оцепенения. Она — в одной рубашке, босая — кинулась к воротам, утопая по колени в снегу, задыхаясь от пурги. Никого. И следы уже наполовину заметены. Она не помнила, как вернулась в хату, что делала, что думала. А стоило ей закрыть глаза, как она видела: по бесконечной степи в облаках колючего снега мчится, точно привидение, Устим.

Утихли зимние вьюги, прошумели вешние воды, а исправник продолжал получать рапорты из экономии, что «оного Кармалюка поймать никак невозможно». И тут же, обгоняя свои рапорты, мчались к нему паны и управляющие: на одного Кармалюк в лесу напал, на другого в корчме, на третьего в собственном доме. Нередко случалось так, что Кармалюк в один и тот же день появлялся в двух, а то и в трех концах уезда. Исправник не знал, что делать, кому верить, ибо все утверждали: разгромил их Кармалюк. Одни кляли пани Розалию, что отдала его в солдаты, обойдя законы, другие — растяп офицеров, которые упустили его из полка. Но больше всего доставалось исправнику: пишет, мол, реляции, а сам боится среди бела дня за город выехать.

Несколько раз исправнику докладывали, что Кармалюк пойман. Он слал гонца с приказанием «заклепать оного в ножные и ручные кандалы и без промедления доставить». Но когда пойманного приводили, то выявлялось, что это не Кармалюк. А то случалось и так, что слух оказывался ложным. Тогда исправник все силы направлял на то, чтобы докопаться, кто пустил «оную зловредную утку». Канцелярию несколько дней лихорадило, и чиновники, услышав в другой раз, что пойман Кармалюк, не торопились докладывать ему.

С 8 на 9 апреля исправник был в гостях у советника Кельхнера. У него гудела с похмелья голова, и зевоту невозможно было сдержать. А дела подобрались неотложные. На полковника Сераковского опять жалуются крестьяне, и губернатор требует ответа о принятых мерах; проезжего шляхтича ограбили разбойники в корчме. Забрали-то у него гроши, а шуму он

наделал на миллион. А тут еще слух дошел: паны собираются писать на него жалобу губернатору, что он, мол, не принимает всех мер для поимки Кармалюка, от которого житья не стало. Ну, ничего: он узнает, кто зачинщик этой кляузы, и так насолит ему…

Все. Теперь обедать и спать: исправник непременно спал после обеда. Нарушить это правило мог только приезд высокого начальства.

Но не успел пан Улович проглотить рюмку полынной, как примчался унтер из инвалидной команды, доложил задыхаясь:

— Ваше благородие! Приказано рапортовать: разбойник Кармалюк пойман.

— Где? Кем?

— Не могу знать!

— Болван!

— Так точно!

— Пошел вон!

— Слушаюсь, ваше благородие!

— Стой! Куда его дели?

— В острог повезли!

Исправник выпил залпом две рюмки и, нацепив саблю, поплелся в острог.

Во дворе острога в окружении толпы солдат стоял чумацкий воз, запряженный волами. На возу сидел связанный веревками широкоплечий, плотный человек. Высокий открытый лоб, большие серые глаза, крупный горбатый нос с круто вырезанными ноздрями, казацкие усы. Кармалюк! Точно такой, как его описывали в приметах.

— В кандалы заклепать! Под семь замков посадить! Усиленную стражу приставить!

Кармалюк спокойно слушал распоряжения исправника, и в уголках его губ, прикрытых русыми усами, мелькала ироническая улыбка.

— Кто такой? — вдруг вспомнив, что забыл спросить даже фамилию, грозно хмурясь, подступил исправник к возу.

— Кармалюк! — дерзко, с вызовом щуря глаза, ответил Устим.

— Отгулялся, разбойник!

— Никак нет, ваше благородие! — ответил Устим. — Хочу еще погулять, но только с вашего позволения!

— Что-о?! — наливаясь кровью, заорал исправник. — Ты еще дерзить?! В карцер подлеца! На хлеб и воду!

— Спасибо, ваше благородие, за хлеб-соль! Я в долгу у вас не останусь.

Вечером к Марии зашел отец. Долго сидел молча, дымя трубкой, что значило: у него есть какая-то неприятная новость, и он не знает, как ее передать. Но когда Иванко уснул, отец оказал, не глядя на нее, точно чувствовал себя виноватым в том, что произошло:

— Устима заарештувалы…

— Ох! — вскрикнула Мария. Долго молчала, согнувшись и закусив губу до крови, потом осторожно вздохнула, глухо спросила: — Де? Колы?

— Кажуть, в лиси. А як взяли — нихто не знае. Корчмарь каже, шляхтычи выслидылы и сонных повязалы.

Отец посидел еще немного и ушел. А Мария дала волю накопившимся слезам. С тех пор как Устим ушел, она ни разу не плакала. Тревога и радость жили в ее сердце. Она ждала ребенка. Что она скажет пани Розалии, когда он родится? Что ответит отцу Иоанну, когда тот спросит ее, кто отец ребенка? Страшно об этом даже думать! И все равно она рада. Это ведь его, Устима, ребенок. Любимого, богом данного ей мужа. Мария становится на колени и долго смотрит на икону, не зная, о чем ей молить бога, чем же она согрешила перед ним.

Из Литина Кармалюка и Хрона, закованных в кандалы, перевезли в Каменец-Подольск и передали, как беглых рекрутов, в распоряжение военного начальства. Комиссия военного суда, учрежденная при Каменец-Подольском ордонанс-гаузе, рассмотрев дело, вменила им в вину только одно: побег из полка. Суд состоялся 13 августа 1814 года. Приговор гласил: «Наказать по конфирмации высшего начальства шпицрутенами сквозь строй пятьсот человек один раз».

Был жаркий день. Пятьсот солдат, выстроенных в две шеренги, стояли во «фрунт», обливаясь потом. В руках у них были ружья и палки — шпицрутены. Отцы командиры обходили строй, ровняя его зуботычинами. Наконец была дана команда начать. Оглушительно затрещал барабан, заскулила флейта, и Устим, не ожидая, пока его потянут унтеры, сам пошел к строю солдат — палок. Глянул на первых солдат. На их задубелых лицах было смешанное выражение стыда и душевной муки. И хотя они, сделав шаг вперед, размахнулись как положено, со всего плеча, палки коснулись спины довольно легко. И все же, когда Устим дошел до середины строя, кожа на спине была рассечена, в тело впились занозы, и каждый новый удар причинял невероятную боль. От одурелого грохота барабана путались мысли. Устим сбивался со счета, но потом опять, стиснув зубы, продолжал считать удары.

Пот заливал глаза, и ряды вдруг двоились, а строй казался бесконечным. Смахнуть пот никак нельзя — руки привязаны к ружьям, за которые ведут его унтеры, не позволяя ни ускорить шаг, ни назад попятиться.

Палки молотят по спине, как цепы по снопу. Устиму кажется: еще удар, еще два — и внутри у него что-то разорвется, как перебитое перевясло, и он рассыплется, точно размолоченный сноп на току. Со счета он давно уже сбился и только прикидывает через каждые два-три шага расстояние до замыкающих солдат. Ноги его как-то странно вязнут, словно он идет не по каменно утрамбованному солдатскими котами плацу, а по вязкому болоту.

Еще шаг, еще…

Но вот, наконец, уплыли за спину последние лица солдат. Унтеры останавливаются и, как мужики, перевернувшие цепами обмолоченный сноп, вытирают пот со лба. Барабан и флейта смолкают. Устиму хочется оглянуться на строй, но земля так качается, что он напрягает все силы, чтобы устоять на ногах.

Данило несколько раз падал. Его отливали водой и тащили дальше. Когда его, наконец, выволокли из строя, он был мокрый, грязный, окровавленный. Казалось, он вот-вот отдаст богу душу. Но как только они пришли в казарму, он, сплюнув кровью, сказал со своей обычной беспечностью:

— Жив Данилка! А ты, Устим, чего не падал, как я наказывал? Гордость не позволила? А мне наплевать! Принял сто палок и — отдых. Меня этому еще в прошлый раз научили старые солдаты. А если бы я попер так, как ты, — без воды да отдыху, то жарили б меня черти в аду. А ну, покажи спину? Эва-а! — свистнул Данило. — До костей размолотили, черти! А у меня посмотри. Много порывов кожи?

— Почти нет…

— То-то, брат! — поучительно поднял палец Данило. — Ловкость — великое дело. Иного всю жизнь сквозь строй гоняют — и ничего. А другому полтысячи всыпят — и готов…

— Ну хватит! — сердито сказал Устим: ему неприятно было слушать, как Данило изо всех сил старается оправдать свое малодушие.

Выпив загодя припасенную кружку водки, Устим лег на живот, ему накрыли спину мокрой рубахой, и он не заметил, как уснул. Он тяжко стонал, ворочался. Ему и во сне виделось: его ведут сквозь бесконечный строй. Но бьют его не солдаты, а черти. И не окровавленными палками, а раскаленными железными прутьями.

В конце августа 1814 года из Каменец-Подольска вышла

колонна солдат. Тут были и рекруты, и беглые, прогнанные сквозь строй, и вернувшиеся из арестантских рот. Среди этих ста одиннадцати человек шагали Кармалюк и Хрон. Направлялось это воинство «по предписанию херсонского военного губернатора генерал-лейтенанта и кавалера Дюка де Ришелье для препровождения в Крым к определению на службу в полки, там расположенные». Вели солдат на эту службу под усиленным конвоем.

Вышли из Каменец-Подольска поздно и в первый день преодолели только восемь верст. На ночлег расположились в селе Панивцах. У Кармалюка мгновенно созрел план побега. К самому селу подступали дремучие леса, огромными зелеными волнами перекатывавшиеся по предгорьям Карпат. Туда нырнул и — затерялся, точно иголка в сене. Искать особо усердно никто не будет: начальству ордонанс-гауза уже нет до них дела. А офицер не решится задерживать команду и посылать конвой на поиски, боясь, как бы и остальные не разбежались. Пошарят в ближайших лесах да и пойдут дальше.

— Я сегодня ухожу, — сказал Устим.

— А как же я? — растерянно спросил Данило.

— Сам решай.

— А может, все-таки до места дойдем, а? Спина еще не зажила. Как поймают да всыпят тысячи две, то не знаю, как ты, а я отдам богу душу.

— Нужно думать не о том, что будет, когда поймают, а о том, как уйти, чтобы днем с огнем не нашли. А ловят как раз тех, кто убегает затылком вперед. В Крыму у нас нет ни одного знакомого, а здесь полно своих людей. А из Крыма нам все равно нужно возвращаться сюда. Дорога не близкая, и сто раз можно угодить стражникам в лапы. А главное-то: уверен, что не доведут нас до Крыма, затребуют назад, закроют в тот же ордонанс-гауз.

— Почему? — испугался Данило.

— А потому, что из Литина придет бумага о поджоге пана Пигловского, Ивана Сала да и о других делах. И тогда петли или пули не миновать.

— Да что ты?! — совсем перепугался Данило. — Не может быть!

— Эх, Данило! Не нравится мне этот разговор. Я тебе еще в прошлый раз говорил: иду бить панов, а не шляться по лесам да побираться/ Я знал, какая кара меня ждет, если попадусь врагам в лапы. И тебя предупреждал: война будет не на жизнь, а на смерть! Что ты тогда сказал? «Двум смертям не бывать, а одной не миновать». Так? Какого же черта ты теперь юлишь?

— Та я ничого, — начал оправдываться Данило. — Я только

так сказал…

Когда исправнику доложили, что в лесах опять появился Кармалюк со своими гайдамаками, он не поверил. Он думал, что кто-то из местных крестьян, его сообщников, решил пошалить, а грех свалить на Кармалюка. У него вот бумага лежит: Кармалюк и Хрон наказаны шпицрутенами и отправлены в Крым. Еще и недели не прошло, как он получил эту бумагу. Их, значит, и до Крыма не догнали. Наказали-то легко, только за побег из полка. Но в том вина Литинского суда: увлеклись розысками и допросами сообщников Кармалюка — а их вскрылось много! — и не отправили вовремя дело в комиссию военного суда. А у тех голова болит только за свое: наказали за побег и погнали в другой полк. А Кармалюка надо не в Крым, а в Сибирь загнать, на вечную каторгу. Да что там Сибирь, — в петлю его, гайдамаку! Ну, да это еще поправимо: перешлют дело в военную комиссию, и его опять поставят перед судом.

Исправник поторопил суд, и дело Кармалюка было отправлено в Каменец-Подольск. А через два дня в Литин примчался насмерть перепуганный шляхтич Сакульский. Он клялся богом, что его ограбил и избил Кармалюк со своими, как он говорил, гультяями. Исправник смотрел на исполосованную спину храброго шляхтича и не мог понять, что происходит. По всем приметам у Сакульского был Кармалюк, ибо никто, кроме него, не отважится так действовать.

И снова посыпались к исправнику жалобы: там корчму разгромили и расправились с ночевавшими в ней панами, там в лесу шляхтичей перехватили, там среди бела дня пришли в дом к посессору. От губернатора прибыла бумага: Кармалюк бежал по пути в Крым. И приказ: поймать, заклепать в кандалы и препроводить в Каменец-Подольск. Черти б вас всех поймали! Он ловит его, отправляет, а они там ни наказать как следует не умеют, ни удержать.

— А это еще что такое? — увидев канцеляриста Какурина с бумагой, сердито крикнул исправник, вымещая на нем зло. — Опять от губернатора? Опять приказ: поймать, заклепать и представить?

— Никак нет, ваше благородие. От пана Пигловского…

— Что? И его навестил Кармалюк? — с открытым злорадством спросил исправник. — Ограбил? Поджег? Высек? Так ему, болвану, и нужно! Пляшет под дудку сумасшедшей жены, а потом — ах! ах! — спасите! К губернатору с жалобами летит! Так пусть вот губернатор и спасает его! Ах, канальи! Пошел вон,

дубина! Стой! Передай это заседателю Гульдину и пусть немедля скачет туда и все расследует. И повально обыски провести! Всю инвалидную команду туда, верховую шляхту вытребовать из близлежащих сел. И день, и ночь обшаривать все леса, но поймать Кармалюка.

К СМЕРТНОЙ КАЗНИ

З багатого хоч я й візьму —
Убогому даю.
Отак гроші поділивши,
Я гріхів не маю…

Закончилась Отечественная война. Но толки о том, что царь дарует крестьянам свободу, не подтверждались. «Мы проливали кровь, — говорили ополченцы, возвращаясь в свои села, — а нас опять заставляют потеть на барщине. Мы избавили родину от тирана, а нас опять тиранят господа». Никто не верил, что после победы над Наполеоном, победы, ради которой народ принес столько жертв, все останется так, как было.

— Царь дал указ о свободе, паны его спрятали, — говорили на ярмарках и в корчмах мужики.

Карл Маркс, анализируя этот период русской истории, писал: «В начале своего царствования Александр I призывал дворянство освободить своих крестьян, но безуспешно. В 1812 г., когда крестьян призывали записываться в ополчение (милицию), им, хотя и неофициально, но с молчаливого согласия императора, было обещано освобождение от крепостной зависимости в награду за их патриотизм; с людьми, защитившими святую Русь, нельзя-де дольше обращаться как с рабами».[13]

И вот 30 августа 1814 года с амвонов церквей попы начали читать царский манифест о «свободе». Мужики слушали слова и ушам своим не верили.

— «Крестьяне, верный наш народ, — гнусавили попы, читая манифест, точно святое писание, — да получат мзду свою от бога…».

— Аминь!.. — брякали невпопад мужики.

Поп окидывал их строгим взглядом, продолжал:

— «Пребывая верны своему долгу и званию своему, умножат прилежание свое к сельским трудам и ремесленным промыслам и тем исцелят нанесенные неприятелем разорения…»

— Вот и сказал нам царь-батюшка то, что говорят богачи нищим: бог, мол, подаст. Нет, хлопцы, от царя мы воли, видно, не дождемся…

— А кто же даст? — спросил совсем обескураженный Данило, который верил слухам, что паны прячут царский манифест о воле.

— А кто тебя из полка отпустил? Командир? — спросил Устим.

— Ты знаешь: сам ушел.

— Вот и волю тебе самому придется добывать! Нечего нам стоять с протянутой рукой перед панами и ждать, пока они скажут: «Бог подаст». Громить и жечь их! Отбирать добро и раздавать бедным людям!

Не было такого дня, чтобы генерал-губернатору не докладывали о пойманных беглых солдатах, чтобы не приносили приговоров на конфирмацию. На плацу не утихали барабан и флейта, под звуки которых гнали солдат сквозь строй шпицрутенов прямо на тот свет. Но уже два с половиною года генерал-губернатор Бахметьев ждет и не может дождаться, когда ему доложат, что пойман Кармалюк. Отряды его разрастаются, охватывая все новые и новые уезды. Пример его заразителен — а молва народная несет эту заразу, как холеру, — для всех хлопов. И то, что во всех концах губернии катастрофически растет число поджогов имений и убийств владельцев их, имеет прямую связь с Кармалюком. Кармалюк со своими «шайками» оказывает всяческую помощь — даже деньгами — тем крепостным, которые убегают от хозяев своих!

И помещики не довольствуются жалобами губернским властям. Граф Сераковский обращается прямо к наместнику царства Польского цесаревичу Константину Павловичу. По ревизии 1795 года в его селе Женышкивцах было двести семьдесят пять душ, а сейчас осталось всего сто сорок восемь. Причину бегства граф усматривает не в жестоком обращении с крепостными, а в поисках ими свободы. Со всех концов губернии поступают к генерал-губернатору тревожные сведения: там крестьяне отказываются выполнять панщину, там грозятся прогнать землемера, если экономия вздумает уменьшать их наделы. Все это прямое влияние Кармалюка. И генерал-губернатор снова рассылает строгий приказ: употребить все силы, если понадобится, то и части воинские, но Кармалюка поймать.

Легко дать приказ, да трудно его выполнить. Кармалюк, появлялся, точно с неба падал, и исчезал, словно сквозь землю проваливался. Исправник сбился с ног, гоняясь за ним, паны потеряли покой и сон, ожидая его нападений. В корчмах и на ярмарках только и разговору было, что о Кармалюке: какого пана поджег, какого посессора выпорол, как от облавы ушел.

В каждом селе имелся дом — а то и несколько, — где Устима и его хлопцев в любой час ночи могли обогреть и накормить. В корчмах, стоявших на глухих лесных дорогах, они тоже были как дома. Но в январе 1817 года шляхта с помощью солдат начала такие повальные обыски и облавы, что Кармалюк со своим загоном вынужден был перейти в лес. Дни стояли холодные,

вьюжные. Кое-кто начинал роптать: от такой жизни недолго и на тот свет отправиться. Устим напряженно раздумывал над тем, что же делать дальше. Оставаться здесь, в своем уезде, было опасно: паны, гоняясь за ним два с половиной года, совсем озверели. Уходить куда-то в чужие края — дело тоже рискованное: там на первой же заставе могут схватить. Да не все и согласятся уходить далеко от своих сел.

Да, трудно действовать зимой. И два лета прошло совсем не так» как ему хотелось. Никак почему-то не сколотить ему такой загон, чтобы в нем люди были постоянные. Одни приходят, другие уходят. И больше так: отомстил человек за какую-то свою обиду и просится: «Помоги, батьку, забрать из села семью и уйти в Бессарабию». Как тут откажешь, когда видишь, что пан шкуры с жены и детей сдирает.

Устим расспрашивал стариков о гайдаматчине и не мог понять: каким же секретом владел Максим Железняк, который сумел поднять столько народу? Дни и ночи думал над тем, как поднять тысячи людей, чтобы выжечь, изгнать всех панов с Подолии. Или этого нельзя сделать за два-три года? Или особого момента надо выждать? Гайдамаки ведь тоже, как рассказывают, почти сто лет жгли то одного, то другого пана, пока не набрались силы и не гульнули так, что запылало все. Нет, нужно зиму переждать, а весной начать собирать хлопцев со всего света. А летом и ударить.

Из корчмы вернулся Данило с мешком харчей. Подложили дров в костер, закусили, и сразу веселее стало, а то сидели все, нахохлившись. Устим спросил:

— Занес гроши вдове?

— Занес, — буркнул Данило, роясь в мешке.

— Погляди мне в глаза! — приказал Устим, поняв, что Данило врет. — Чуешь?

— Чую, но… виноват, — моргая глазами и отодвигаясь от Устима, говорил Данило, — забыл. Истинный крест, забыл!

— Давай сюда!

— А я… я их у корчмаря оставил…

Это случалось уже не раз. Устим давал деньги для передачи какой-нибудь умирающей с голоду вдове, а Данило прикарманивал их. Он считал раздачу денег блажью. Прямо Устиму боялся об этом говорить, а за глаза ворчал: к чему, мол, тогда и отбирать, если опять все раздавать. Известно ведь, что на весь мир пирог не испечешь, а сам за милую душу околеешь с голоду. Устима бесила эта тупая жадность Данилы. Он много раз втолковывал ему: у панов нет своих денег. Все, что у них есть, — это добро, награбленное у мужиков. А потому, отбирая деньги у

панов, их нужно возвращать тем, у кого паны отобрали. Тогда люди и скажут: «Вот это справедливо». Тогда никто и не посмеет назвать их грабителями. Данило кивал головой: так, мол, так, но, как только деньги попадали ему в руки, охотнее оставлял их в своем кармане, чем отдавал другим.

Устим вспомнил: у покосившейся хаты, на сугробе, накинув драную свитку на худые плечи, стоит женщина и дергает солому из крыши, чтобы протопить печь. А на печи, сбившись в кучу, лежат в соломе дети. Синие, еле живые от голода и холода. У него сердце сжалось. Он отдал вдове все, что было в кармане — а были у него гроши, — и пообещал больше прислать, как только раздобудет. А Данило вот что сделал. Да ведь это же прямое предательство. Если отбирать деньги у панов только затем, чтобы набивать свои карманы, то пусть поищут себе другого атамана. А он на такое дело не пойдет.

— Вставай! — с трудом сдерживая гнев, приказал Устим, поднимаясь и вынимая пистолет из-за пояса. — Я еще ни одну душу не загубил, но ты вынудил меня взять такой грех…

— Батьку! — взмолился Данило. — Клянусь тебе всеми святыми — гроша больше не зажму и другим накажу…

За Данилу вступился Илько Сотничук. Загудел и весь загон: прости, мол, его, батьку. Устим понимал, почему многие встали на защиту Данилы: с ними тоже такое случалось. Он не собирался убивать Данилу. Но припугнуть его хорошенько, да и другим показать, чем такие шутки могут кончиться, надо было. Устим помедлил, как бы раздумывая, что делать, сказал:

— Моли, Данило, бога за хлопцев. А гроши, вот возьми и сейчас же отнеси той вдове!

— А как на засаду нарвусь? — робко спросил Данило, которому не хотелось тащиться бог весть куда по такой непогоде.

— Дай панам дулю и перекрестись! — под общий хохот посоветовал Илько Сотничук. — Они и не тронут тебя…

Чертыхаясь, проклиная и Кармалюка, и вдову, и себя, Данило поплелся выполнять приказание. Но вскоре он вернулся, крикнул еще издали:

— Батьку, нас окружают!

— Гаси костры! — приказал Устим. — Выходить будем, как всегда, тремя группами. Сбор в Маньковской корчме.

Но уйти на этот раз Кармалюку не удалось. Он угодил со всей группой в засаду. Всех заковали в кандалы и повезли прямо на Каменец-Подольск, где давно уже лежало его дело в комиссии военного суда.

Каменец-Подольский ордонанс-гауз. Здесь Устим уже сидел в

ожидании шпицрутенов. Только тогда он был в общей камере, наверху. А сейчас его запрятали в подвал. Окна нет. Свет сочится только в окошко двери, через которое подают пищу. У фонаря стоит часовой, и по коридору навстречу друг другу день и ночь шагают два солдата. Устим несколько раз пытался заговаривать с ними, но они ходят, точно глухие.

Толстая дубовая дверь кажется сизой от плесени. На болтах — красные наросты ржавчины. Слежавшаяся солома, заменяющая кровать, брошена прямо на сырую землю. Конура узкая, длинная, пока дойдешь от двери до противоположной стены, несколько раз споткнешься о крыс. Они без стеснения гуляют по камере и настолько обнаглели — а возможно, их к тому приучили арестанты, — что, когда Устим начинал есть, крысы, сердито попискивая, требовали крошек от скудного пайка. Пришлось не нарушать порядка, делиться.

Ложась спать, Устим окутывал голову чемеркой: всю ночь крысы сновали по нему, точно по бревну. В первую ночь он пытался их гонять, но потом понял: так он не уснет ни минуты. Лучше не обращать на них внимания. Но к этой пытке не очень-то легко привыкнуть. Начальство хорошо это знает, и если надо извести человека бессонницей, чтобы добиться признания во всем, то его и запирают в эти крысиные норы. Простояв на ногах несколько суток, человек или замертво падает, или стучит кулаками в дубовую дверь, готовый признать за собой любую вину. Устим знает: плац-майор Гратинский ждет, когда он постучит в дверь. Но нет, не дождется этого.

Презус плац-майор Гратинский нервничал: генерал-губернатор торопил с окончанием дела, а он никак не мог добиться от Кармалюка главного признания, которое поставило бы его, как этого хотелось панам, под пулю. Два, а то и три раза на день он вызывал начальника караула и спрашивал, не стучал ли Кармалюк в дверь. Начальник караула виновато мигал глазами, но ничего утешительного плац-майору сказать не мог. Гратинский приказывал привести подсудимого. Кармалюка, закованного в ножные и ручные кандалы, в сопровождении двух часовых и самого начальника караула вели на новый допрос.

Встречал плац-майор его всегда одним и тем же вопросом:

— Ну что, каналья? Ну?! Скажешь ты правду или нет?

— А я все сказал, — спокойно отвечал Устим, с прищуром глядя на плац-майора.

— Мерзавец? — угощая зуботычиной, кричал Гратинский, возмущенный не столько ответом, сколько тем бесстрашием, с которым Кармалюк вел себя. — Да я тебя, подлеца, голодом

заморю! Я тебя…

Плац-майор долго, брызгая слюной, перечислял кары, уготованные Устиму. Потом опять требовал сказать правду, опять бил по зубам, приказывал часовым:

— Убрать скотину!

Но не успевали часовые увести Кармалюка, как он кричал:

— Отставить!

Долго молчал, расхаживая по кабинету, потом, остановившись перед Устимом, вдруг говорил так, точно тот признал это:

— Значит, Ивана Сала ты жизни лишил?

— Я и не знаю такого. И вообще я никому и нигде смертоубийства не чинил. Это я уже говорил…

— Слышал. Да вот бумаги другое говорят.

— Не знаю. Я неграмотный…

Как ни усердствовал, как ни хитрил плац-майор, в протоколе ему пришлось записать: «Он, Кармалюк, смертоубийства Ивану Салу и грабительства никакого не учинил, и даже в помышлении его не было».

От Данилы Хрона плац-майор тоже ничего не добился.

У первоприсутствующего[14] военной комиссии суда были свои счеты с Кармалюком и Хроном. За прошлый поспешный приговор генерал-губернатор сделал ему внушение. И сейчас, ознакомившись с делом, он решил лучше перегнуть, чем не догнуть. Хотя и не доказано, что Кармалюк и Хрон причастны к смерти Ивана Сала, именно на этом обвинении надо построить приговор.

Было в деле Кармалюка и еще одно щекотливое обстоятельство. 30 августа 1814 года царь в ознаменование победы над Наполеоном «всемилостивейшим манифестом» объявил амнистию. Если бы даже и было доказано, что Кармалюк и Хрон виновны в смерти Сала, то они «подверглись бы только ссылке в крепостную работу». Но первоприсутствующий, вскользь упомянув об этом, делает особый упор на то, что обвиняемые «сделали нападения и грабительства по воспоследовании всемилостивейшего манифеста». Эта, мол, неукротимость разбойников и есть та страшная опасность, которая вынуждает комиссию военного суда применить к ним самую суровую меру наказания.

С первых же минут суда Устим понял: все уже предрешено. И ни председателя — тучного, плешивого полковника, ни господ присутствующих — майора и капитана, совсем не интересует то, что он скажет. Аудитор читает протокол — свидетелей не

вызывали, — точно дьячок псалтырь над покойником.

— «Пятое: а по делу следствием, произведенного от Литинского нижнего земского суда, оказалось следующее: сестра крестьянина Ивана Сала Горпина Григорова, имеющая от роду 50 лет, служанка его девка Явдоха Черниова, имея от роду 18 лет, пасынок Антон Яковлев Сорока 18 лет, служитель Петр Данилов 12 лет — все показали, что после благовещения в следующую неделю, то есть 30-го против 31-го чисел марта м-ца 1813-го года, на хутор оного Сала, расстоянием от Дубовой не менее версты отстоящий, где и они при Иване Сале жили, с вечера поздно пришли неизвестные люди, кричали: «Отвори, мужик!..»

Послюнявив палец, аудитор перевернул лист, покосился поверх очков на дремлющего председателя и болтающих о чем-то майора и капитана, вздохнул и продолжал читать, еще больше гнусавя и проглатывая концы слов:

— «Когда Иван Сало и сестра его Горпина вышли в сени, отворили двери, а девка Явдоха запалила свечу, вдруг связали Ивана и всех их, требовали денег, отворили скрыню, взяли 18 рублей серебром…».

Господа присутствующие чему-то весело рассмеялись, аудитор, осуждающе поджав губы, покосился на них, откашлялся, продолжал бубнить под нос:

— «Числом их было в хате три, а на дворе несколько; попривязовали их до стола и лавок, а сами… водили Ивана Сала, чтобы показал, где деньги. Напоследок один, бывший в польской чемерке, обложенной сивыми барашками, и в сивой шапке, кричал: «Казак, подавай водки!». А прочий в кожухах…».

Вот и все: в чемерках и в кожухах. Не только не названы имена и фамилии, а даже и никаких предположений не высказано. Но на эти показания домочадцев Ивана Сала, как видно, делается весь упор. И плац-майор Гратинский готов был вместе с языком вырвать у Кармалюка признание, что он убил Ивана Сала. Майору этого не удалось. А теперь все подносится так, точно вина его в смерти Ивана Сала доказана. Или, может, он что-то пропустил? Так нет, он внимательно слушал красочное описание нападения на Ивана Сала и не пропустил, кажется, ни слова. Да если бы там была кем-то упомянута его фамилия, то аудитор, как это он делал, когда читал показания пана Пигловского, особо подчеркнул бы: слышал, мол, что здесь написано!

Долго, нудно читает аудитор протоколы и справки. И в этом заупокойном голосе его Устиму слышится что-то зловещее. Или это, может, потому, что когда Устим закрывает глаза, то ему кажется, что он не в суде, а на похоронах. И поп отпевает его,

хотя и видит, что он еще живой. Он смотрит на судей, стараясь разгадать, что они готовят ему, но те все время переговариваются о чем-то, совсем не вслушиваясь в то, что читает аудитор. Наконец аудитор перевернул последнюю страницу дела и, облегченно вздохнув, подал толстую папку председателю.

Суд удалился на совещание. Не прошло и пяти минут, как унтер гаркнул:

— Встать! Суд идет!

Сурово хмурясь, судьи заняли свои места. У Кармалюка опять сердце сжалось от того зловещего предчувствия, которое не давало ему покоя. Да что вы тянете? Читайте уж быстрее! Но председатель не торопится: он явно наслаждается той зловещей тишиной, от которой оцепенели даже караульные солдаты, вытянулись во «фрунт» и господа присутствующие.

— «По указу его императорского величества, — начал председатель таким голосом, точно подавал команду целой армии, — учрежденная при Каменец-Подольском ордонанс-гаузе комиссия военного суда, слушав выписку из дела, произведенного над подсудимыми рекрутами Устимом Кармалюком и Данилом Хроном за учиненные ими Литинского повета разные грабительства и сожжение селения Дубовой Ивана Сала…».

Председатель подробно повторяет то, что уже читал аудитор, и особо выделяет показания пана Пигловского, на основании которых и сделано было, видимо, заключение, что Ивана Салу сжег Кармалюк.

— «Владелец селения Пигловский, свидетельствуя, что 1813-го года июня 30, — гремит председатель, — спаленная в селении его Головчинцах винокурня беглыми рекрутами Устимом Кармалюком и Данилом Хроном стоила ему, Пигловскому, тысячу польских злотых…».

Перечислив все пункты обвинений, председатель рявкнул:

— «Пригов-вор-рили! Как они, подсудимые рекруты Кармалюк и Хрон, сделав первоначально смертоубийство крестьянину Ивану Сале и разные грабительства… по силе закона: воинского сухопутного устава 4-й главы 43-го артикула, 12-й главы 95-го артикула, 19-й главы 161-го артикула, 21-й главы 182-го артикула, уложения 2-й главы, 17-го и 18-го отделений, всемилостивейшего манифеста… имеют быть они, рекруты Хрон и Кармалюк, казнены смертью…».

В комнате воцарилась тишина. Слышно только было, как кричат где-то на крыше воробьи. Этот веселый, с детства знакомый щебет перенес Устима к его хате под соломенной крышей. Все. Больше он никогда уже не постучит в маленькое оконце, не увидит испуганно-радостное, чернобровое, померкшее

от горя, но все еще красивое лицо Марии, не посадит сыновей себе на колени. Не промчится на коне от одного панского двора к другому, поджигая их со всех сторон.

— «Впрочем, все сие постановление, — продолжал читать председатель, совсем почти не повышая голоса, — комиссия военного суда, не приводя в надлежащее исполнение, передает на благорассмотрение и конфирмацию власти высшей воли…».

«Имеют быть казнены смертью…» Не обмануло, значит, его предчувствие. На высшее начальство никакой надежды нет: оно, как известно, всегда старается и само зуботычину дать, а не то, чтобы придержать руку тех, кто помельче. И все за смерть Ивана Сала, хотя их вина в том и не была доказана. И царский манифест не помог. А все потому, что дело совсем не в смерти Ивана Сала, а в том, что он громил и порол панов. Этого они не могут простить ему, за это они его ставят под пулю. И ликовать же будут, проклятые! Ну, да погодите! Не спешите устраивать поминки. Пуля еще в ружье, а не в его сердце.

— Ну, Устим, прощай, — сказал Данило, еле сдерживая слезы, — может, уже и не увидимся на этом свете…

— Увидимся! — ответил Устим с таким внутренним спокойствием, что и Данило ободрился. — А народ здесь добрый. Попрощаться всегда позволят.

Солдатам подали команду уводить осужденных. Устима и Данилу увели в камеры смертников. Здесь было и окно, забранное толстой решеткой, и топчан. Но караульные ходили, как ходят мимо комнаты, в которой лежит покойник. Говорили шепотом, старались лишний раз не стукнуть. Но лучше бы они его закрыли в ту же крысиную нору и мучили: тогда он не так бы остро, не с такой бы болью ощущал холод постоянно стоящей рядом с ним смерти. Нет, нужно что-то делать! Устим ощупал решетку окна. Прочно вмурована. Достать пилу? Нет, это не годится. Ведь каждую минуту может открыться дверь и его поведут. А эту решетку не перепилишь за день или два. Да и на то, чтобы пилу достать, нужно время. Но что же? Что придумать? Устим стучит в дверь.

— Что тебе, братец? — тотчас же откликается караульный солдат, заглядывая в глазок.

— Куда нас поведут?

— А бог же их знает, — сочувственно вздыхает солдат, и Устим по глазам его видит, что он не обманывает, а и сам не знает. — А к чему это тебе?

— Да ведь у меня жена, дети. Передать бы как-то им, чтобы хоть место знали.

— Это конечно, — соглашается караульный. — Сыновья, они,

может, только и помянут. У меня вот нет никого. Мать была, да и ту пан запорол до смерти…

— Так разузнай, а?

— Попробую.

«Властью высшей воли» в Подольской губернии был генерал-губернатор Бахметьев. На его конфирмацию комиссия военного суда и передала смертный приговор, вынесенный Кармалюку и Хрону. Правитель канцелярии, человек очень осторожный, изложив генерал-губернатору суть дела, сказал:

— Не знаю, как вы на это дело взглянете, ваше превосходительство, но я лично сомневаюсь…

— Ну, ну, говори!

— Оно, конечно, может, и ничего, ежели никто не копнет…

— Да говори яснее! Ничего понять не могу!

— Есть там два скользких пунктика: всемилостивейший манифест…

— Так это все было до манифеста?

— Не все. Но главный пункт обвинения — лишение жизни Ивана Сала — подходит под всемилостивейший манифест. Да разбойники этого Ивана Сала и не убили, а он умер несколько дней спустя… Оно, конечно, ничего, ежели ничего. Но если приедет кто-то из сената докопнется…

За дверью опять гремят ключи. Устим невольно вздрагивает. Нет, это не они. Это еще не за ним пришли. Смерть еще раз прошла мимо. Он будет жить еще минуту, еще час, еще день…

Какое великое благо, что человек не знает, когда он умрет. Эта мысль почему-то никогда не приходила Устиму в голову, а сейчас, ожидая казни, он точно открытие сделал. Иногда такое отчаяние охватывало душу, что казалось: какой угодно конец, но только бы быстрее. За эти минуты приступов отчаяния Устим ругал себя и с ожесточением боролся с ними. Он убеждал себя, что безвыходного положения нет. Умереть он всегда успеет, а пока бьется сердце, нужно думать только о жизни.

Шли дни, недели, а смерть не стучала в дверь камеры Устима. Иногда было такое ощущение, что с того мгновения, как он услышал приговор: «Имеют быть казнены смертью…», время остановилось. Сегодня вот уже ровно месяц как за ним захлопнулась дверь камеры смертника.

У пани Розалии был день рождения. В Головчинцы непрерывным потоком ехали гости. И все как самый дорогой подарок подносили пани Розалии радостную новость: ее лютый враг Кармалюк казнен. Получил все-таки гайдамака по заслугам.

Передавали даже подробности казни. Одни утверждали, что его повесили на площади в Каменец-Подольске и он до сих пор болтается в петле; другие говорили, что его расстреляли и зарыли, как собаку, за оградой кладбища.

Пан Пигловский предложил тост за погибель всех гультяев, и гости дружно подняли «кухли до горы».

Дошла весть о казни Устима и до Марии. Она упала перед иконой и не поднималась с коленей всю ночь. Она ни о чем не просила бога: из головы ее вылетели все молитвы. Она и не плакала: слезы нестерпимо горячим, скипевшимся комом стояли в горле, а глаза были сухи.

А в доме пана Пигловского рекой лилось вино, гремела музыка, кружились пары танцующих. Ясновельможное панство впервые за многие годы веселилось, не опасаясь, что на дом налетит Кармалюк. Все давно забыли, что съехались на день рождения пани Розалии. Праздновалась победа над Кармалюком.

Но паны поспешили с поминками. Генерал-губернатор Бахметьев, в чьей воле было казнить или миловать, требовал от комиссии военного суда все новых и новых справок. Генерал-губернатор понимал, как будут возмущены паны, если он отменит приговор суда. И за все содеянные преступления Кармалюка надо казнить. Он ведь не просто сжег двор пана Пигловского, мстя ему за свои обиды, а объявил войну, по сути дела; всему существующему порядку. Но, во-первых, ничего достоверно не установлено; во-вторых, даже то, что доказано предположительно — разгром Пигловского и смерть Сала, — было совершено до всемилостивейшего манифеста, а значит, и прощено уже ему. Надо найти новые улики или как-то обойти этот манифест.

Что это? Открывают дверь? Вот и пришли…

Гремя кандалами, Устим встает с топчана. Его выводят из камеры. В узком темном коридоре он сталкивается с Данилом и не узнает его: так тот зарос и похудел. Да, видно, и он, Устим, очень изменился, потому что Данило тоже удивленно смотрит на него. В слезящихся, красных от бессонницы глазах Данилы Устим читает то, что жжет и его душу: неужели конец? За этот месяц и пять дней так много раз казалось: все, конец, что когда конец вот действительно наступил, то не верится, что на этот раз смерть уже не пройдет мимо.

— Дождались… — сказал Данило каким-то чужим голосом, и его заросшее по самые глаза лицо так странно сморщилось, что трудно было понять: улыбку ли он силился выдавить или унять рвавшуюся из сердца боль.

Устим ничего не ответил. Он молча обнял Данилу и, не

ожидая команды, пошел по коридору к выходу.

Вдруг в двери всех камер застучали, послышались голоса:

— Прощайте, братцы!

— Прощайте…

Кармалюк остановился и, подняв закованные руки, крикнул, гремя цепью кандалов:

— Прощайте! Да отомстите проклятым панам и за нас! Громите, жгите их, чтобы и духу не было!..

Поднялась такая буря грохота и крика, что казалось: узники вот-вот повыламывают двери камер. Караульные испуганно забегали, заторопили Устима и Данилу. Выйдя во двор, Устим глянул на ордонанс-гауз и, прощально махнув висевшим на решетках окон арестантам, пошел, высоко подняв голову. Данило старался не отставать от него. Железное спокойствие Устима не столько ободрило, как пристыдило его, и он тоже приподнял обреченно было опущенную голову.

Но что это? Их опять ведут в суд. Зачем? Ведь говорили, что приговор читается на месте расстрела. Или, может…

Нет. Судьи угрюмо хмурятся, аудитор долго возится с бумагами. Наконец он начинает читать. Устим затаив дыхание слушает его нудный, хриплый, видимо от перепоя, голос. И вдруг его жаром обдает, словно порыв ветра метнул пламя костра прямо в лицо:

— Заменить смертную казнь…

Устим напрягает все силы, чтобы разобрать, чем Генерал-губернатор заменил ему смертную казнь, но в голове, путая все другие мысли, звучит: «Заменить смертную казнь…» Жить! Он будет жить! Ну, держитесь, паны! Сибирь не пуля, каторга не ад: оттуда есть такая же дорога, как и туда…

В Сибирь. На вечную каторгу.

Устим стоит на площади Каменец-Подольска, возле городской ратуши. Цепь солдат сдерживает напор толпы. Палачи возятся у дубовой, окровавленной скамейки — кобылы, прилаживая ремни. Устим пристальным взглядом обводит площадь. Нет ли его хлопцев? А, вон один приподнял шапку, вон еще один…

Приказывают раздеться. Устим снимает рубаху и сам ложится на кобылу. Палач хочет привязать ему ремнями руки и ноги, но он отталкивает его, говорит:

— Бей!

Но палач и экзекутор все-таки наваливаются на него, привязывают ремнями: таков порядок наказания, утвержденный его императорским величеством, и никто не смеет нарушить.

Скамейка-кобыла установлена полого: голова выше, ноги ниже. Сделана вырезка для шеи, а по бокам — для рук. Заправив руки и шею в эти дыры, палач уже под скамейкой так туго скрутил их ремнями, что тело напряглось, точно подвешенное. Невозможно не только повернуться, но и шевельнуться. Дышать тоже трудно: горло давит кобыла, и Устим напрягает все силы, чтобы удержать тело на доске и не повиснуть в этой дубовой петле.

Устиму видны только жирно смазанные дегтем сапоги палача. Вот они отступили, и за ними, оставляя в пыли змеиный след, пополз кнут длиной аршина в полтора, с ремнем толщиной в добрую цигарку на конце, буро-красным от впитавшейся крови. Сапоги остановились, повернулись носками к кобыле и медленно двинулись к Устиму.

— А-а… ах! — одним духом выдохнула замершая было толпа, увидев, как палач со всего плеча, с прискоком врезал Кармалюку по спине.

После каждого удара сапоги уходят от Устима шагов на пятнадцать и, повернувшись, точно по команде, опять медленно приближаются. Кнут змеей ползет между ними и вдруг, точно хвост змеи этой, попадает под каблук палача: кнут взвивается и с разъяренным свистом жалит спину Устима, Палач смахивает с него горсть крови.

Пятнадцать…

Что он? А, кнут меняет. Тот уже разбух от крови. И неужели так вот до скончания века и останется: паны будут кнутами пороть, а мужики чесать затылки? Нет, дайте только срок…

Двадцать пять…

Палач отвязывает ремни. Превозмогая боль, Устим встает. Но ему не дают прийти в себя, усаживают на барабан. Сжав зубы, Устим смотрит, как палач подносит ко лбу штемпель с иголками. Даже черти в аду не додумались выжигать на лбу грешников «ад», а царь вот додумался. Правой рукой палач со всего маха бьет по рукоятке штемпеля. Устиму кажется, что иглы пробивают лоб и вонзаются прямо в мозг, от пронзившей голову боли темнеет в глазах. На щеках боль чувствуется не так уж сильно. Палач насыпает пороха на ладонь и втирает его в ранки. Устим напрягает всю свою волю, но боль пересиливает его и выдавливает из глаз слезу. Устим не смахивает ее и не стыдится. Это такая же высеченная слеза, как и кровь, что сочится по лицу и спине.

И понес народ по городам и селам Подолии: жив Кармалюк. Паны всполошились, но, узнав, что его клеймили и погнали на вечную каторгу в Сибирь, успокоились. Оттуда, как с того света, возврата нет. Каменец-Подольская градская полиция донесла

губернскому правлению, что преступники Устим Кармалюк и Данило Хрон «наказаны и 16-го ноября 1818 года за надлежащею экипировкою и выдачею на путевое продовольствие кормовых денег отправлены в Иркутское губернское правление для употребления в каторжную работу».

В СИБИРЬ

Труть кайдани, ниють рани,
Мороз дошкуляє,
А Кармалюк, добрий хлопець,
Ще й пісню співає…

Сквозь сон Устим слышит: барабан бьет зарю. Во всех углах тюремной казармы кричат конвойные:

— Вставай!

— Быстрее поворачивайся!

— Строиться!

Не успевает Устам отодрать примерзший к нарам тулуп, как барабан уже грохочет: в дорогу собирайся! За ночь так промерзли, что зуб на зуб не попадает. Путаясь в толпе арестантов — все толкаются, стараясь хоть немного согреться, — Устим выходит в заваленный снегом двор тюрьмы. Ветер ударяет в лицо колючей снежной пылью, мороз обжигает кожу. Устим, придерживая рукой цепь кандалов, чтобы холодным железом не обжечь щеку, трет рукавицей нос. Недоглядел накануне, и нос прихватило немного морозом, теперь уж беречь нужно.

Темно. Дотащились вчера до этапной тюрьмы только в двенадцатом часу ночи. Пока смели снег с нар да улеглись, ни уснуть толком не удалось, ни отдохнуть. А о том, чтобы согреться, и разговору нет. Печи топят, экономя дрова, перед самым приходом партии. Трубу, значит, не закрывай, а то вмиг упьешься угара до смерти. И гуляет по казарме-сараю, как по улице, ветер, припорашивая снежной пылью арестантов. Наконец утихает звон кандалов, смолкает ругань. Да глохнет и барабан.

— А чтоб ты треснул, окаянный! — ругаются арестанты.

Опять начальство что-то придумало. И точно: раздается команда:

— Полы драить! Нары мыть!

Все знают: никто тех нар и полов не мыл со дня постройки этапа и мыть не будет. Но надо же содрать гостеприимным хозяевам с постояльцев. А то, ишь, какие умные: переночевали, нагадили — и айда. Нет, платите, голубчики. А не хотите — вот вам швабра, вот холодная вода. Шаркнешь этой шваброй разок-другой, а она уже оледенела. Вот и драйте, коли совести не имеете.

Староста идет на переговоры. Долго торгуются. Арестанты пляшут, коченея от холода, бряцая накаленными морозом и оттого чисто звенящими кандалами. Наконец объявляют: по

грошу с рыла. Берите, чтоб вас холера прибрала! Барабан просыпается, бьет генерал-марш. Часовые открывают ворота, и партия двигается в путь. Впереди идут ссыльнокаторжные, за ними — ссыльнопереселенцы. Они в отличие от каторжных без ножных кандалов, но прикованы за руки к цепи по четверо. Замыкает эту скрученную цепями толпу обоз. На санях меж мешков багажа дрожат от лютого холода женщины и дети, идущие за мужьями и отцами на поселение. Впереди и сзади конвойные — солдаты, верховые казаки. Вот и попробуй выскользнуть из этих железных пут.

Ноги посинели, опухли, кожа до крови стерлась. А пути ведь и конца не видно. Еще и Вятской губернии не миновали, а где же тот Иркутск? Бывалые люди говорят, что всю зиму туда партия тащиться будет. Шагает Устим в Сибирь и примечает путь назад, в родную Подолию. Кандалы еще в Каменец-Подольске подпилены и искусно свинцом заделаны. Стукнуть только камнем — и выбрасывай в кусты. А это уже половина дела. У Данилы такие же кандалы. Вдвоем-то бежать, да еще с верным другом, куда легче.

Бежать мечтают все. Об этом только и разговоров. Но уверяют: бежать с этапа невозможно. Кроме всех других трудностей, на пути стоят и товарищи. Им невыгодно, чтобы кто-то бежал, ибо все начальники конвоев, принимая партию, предупреждают:

— Идите, ребята, как хотите. Но глядите: чтобы ни одного беглого не было. Если упустите хоть одного — всех к цепи прикую! Никому нет расчета идти из-за вас под суд.

А Кармалюку нет расчета идти в Иркутск. Тянуть лямку каторжника он не собирается, убежать же оттуда будет еще труднее, чем из Вятской губернии. Все на этой кандальной дороге построено так, чтобы не упустить беглого арестанта, чтобы поймать беглеца. И каждый лишний шаг — новая и новая опасность, которую нужно будет преодолевать, возвращаясь назад.

Партия вступает в город. Все оживляются. Прапорщик — за определенную мзду — разрешил конвойным, которым тоже уплачено, провести арестантов за подаянием. Отбирается группа опытных — все пойдет потом в артельную кассу — в этом деле арестантов, и бредут они по улицам города, распевая «Милосердную», кормящую их всю дорогу. Без шапок, с обритыми наполовину головами тянут арестанты как-то вразнобой, с подвывом:

Милосердные наши батюшки,

Не забудьте нас, невольников,
Заключенных, Христа ради…

Заунывными голосами тянут арестанты, сопровождая пение свое умышленно громким позвякиванием кандалов:

Мы сидим во неволюшке —
Во неволюшке: в тюрьмах каменных,
За решетками за железными…

И стучат медяки о ржавое дно кружки. Народ знает: на воле копейка дорога, а в тюрьме ей и цены нет. Тут ты не под замком, не под ружьем, и то всяк норовит с тебя шкуру содрать. А там, поди уж, и совсем не стесняются. Там последний кусок изо рта выхватывают. Но ведь от тюрьмы да от сумы никто не отрекайся! И копейки, краюхи хлеба — все несут люди в арестантскую сумку, зная, что на казенных харчах те давно бы уже ноги протянули. Арестанту дается десять копеек на день, и на том забота о нем кончается. Может ли он что-нибудь купить за эти гроши, то уже никого не интересует. А на пути попадается больше таких деревень, где мужики сами голодают, сами смотрят, кто бы им сухарь дал. И воют арестанты волками от голодухи, едва передвигая ноги. И редеет партия, оставляя на этапах умирающих от истощения и болезней.

Как вышел Устим на тракт кандальный, как глянул: мать честная! Народу-то, народу сколько валит в Сибирь. И кого ни спроси, один ответ: вольнее пожить хотелось. Или терпение лопнуло: дал мучителю сдачи и зазвенел кандалами. Это все идут люди, для которых воля дороже всего на свете. Их-то и боятся как огня паны, их-то и хоронят в снежных могилах Сибири.

Вот шагает рядом с Кармалюком орловский мужичок. Устим спрашивает его:

— За что вечную дали?

— Разорил барин, язви его душу! — сердито отвечает мужичок. — Детей продал, жена от немилосердных побоев умерла. А, думаю, пойду и я за нею, да и тебе, окаянная твоя душа, хоть малость насолю. Убрали, значит, весь урожай, сложили скирды на току, а я и поднес огоньку… А ты, братец, по какой причине часы потерял, а цепочкой обзавелся?

— По той же.

— И мора на них нет!

С земляками не разминуться. Одни землемера побили,

приехавшего отрезать у них землю; другие просто убежали, спасаясь от смерти под панскими розгами, их поймали и, как бродяг, гонят в Сибирь.

— У нас уже вторая хата — пустка, — рассказывает мужик из села Женышкивцев.

— Куда же ушли?

— В Бессарабию. Я тоже подался туда, место подобрал. Да когда вернулся за семьей, гайдуки графа Сераковского и схватили меня…

В селе Подвысоком взбунтовались мужики; губернатор прислал солдат, и теперь вот гонят их в Сибирь на веки вечные.

— Почти пол села арестовали и угнали, — рассказывает молодой парень. — Да наши все равно не смирятся, до царя дойдут, а правды добьются. Все наше село еще граф Потоцкий освободил от панщины и перевел на оброк, а новый пан опять свое гнет. Но не согнет он наших мужиков.

Из Херсонщины, той самой Херсонской губернии, куда бежали мужики искать землю и волю, брело в Сибирь все село Жуково. Жуковцы встретили косами и вилами солдат, присланных выгонять их на панщину. Завязался бой, в котором было убито одиннадцать человек и ранено двенадцать.

Жуковцы долго рассказывали, как они дрались с солдатами, как их вязали, пороли, судили. А Устим слушал их и думал: «Нет, открытой войной на панов идти — значит глупо подставлять голову под пулю. Нужно громить их так, как громили гайдамаки, пока не набрали сил: налетел, поджег — и скрылся. А когда отряды разойдутся по всей Подолии, тогда ни один пан не усидит в своем доме».

Как день — так и до Иркутска на тридцать верст ближе. А по мере того как партия уходит все дальше, и строгостей меньше. Это и понятно. Сотни верст заснеженной дороги, легшей за спиной, не менее крепкая цепь, чем та, которой скованы арестанты. И морозы давят, и метели крутят такие, что одних только каторжников и не считается за грех выгонять из жилья. Есть обмороженные? Оставить на этапе, а остальные дальше шагом марш. Иногда и конвойные вопят, и прапорщику Синельникову, видать, не велика охота вылезать из-под теплого одеяла и мерзнуть весь день в санях, да служба. Приказано — гони и не рассуждай, хоть до Иркутска и всех растеряешь. Это не твоя забота. Были бы акты: где кого похоронил, где кого умирать оставил…

Да и велика же эта Вятская губерния! Звенят-звенят каторжники кандалами, а ей все конца и краю не видно. В

Перитине, говорят, дневка положена. Этапная тюрьма там что твой ледник, но все можно будет хоть дух перевести. А может… Об этом тайном «может» Устим думает, входя в ворота каждого этапа. В пути — в этом он уже убедился — бежать никак нельзя. Там ты постоянно на глазах у конвоя. Нужно, значит, где-то в тюрьме найти щель. Но что же можно сделать за ночь, сидя за десятью замками в сарае-казарме. Вот если бы побыть там хоть деньков несколько да осмотреться. И когда Устим услышал, что в Перитине будет остановка, то так обрадовался, точно вдруг открыл путь побега.

Трудно этапу надолго остановиться. Но коль он уже по какой-то причине остановился, то не менее трудно ему и с места тронуться. А тут, на счастье всех, так замело, что света божьего не видать. «Слава тебе господи, — крестились каторжники, — услышал ты наши молитвы». Но радовались арестанты недолго: в казармах перитинского этапа стояла такая холодина, что каждое утро шесть, семь, а то и десять человек выволакивали, складывали на сани, как дрова, и вывозили в тайгу, где была еще с осени заготовлена яма, в которую всю зиму сваливали трупы замерзших и умерших от болезней арестантов. Их присыпало там снегом, а весной, когда оттаивала земля, яму зарывали, чтобы выкопать рядом другую. А когда на этапах свирепствовал тиф, случалось, и летом рыли такие, как говорили арестанты, адовые могилы. И бывалые бродяги, исходившие Сибирь, вдоль и поперек, поучали:

— Каторгу отбыть, ежели срок установлен, еще не штука. А вот дойти до нее по этим тифозным, по этим морозным этапам, на то надобно иметь особое счастье…

— Да, этапы эти, брат, хуже шпицрутенов: хоть там и закатают тебя до смерти, да за два часа. А здесь тебя год морят голодом, тифом да холодом.

Померзли две ночи в казармах перитинского этапа, и опять барабан забил генерал-марш. Но выстроенная во дворе колонна оборванных, изможденных, промерзших до мозга костей арестантов, закованных сверх того еще и в кандалы, не двинулась с места. Как ни пересчитывали прапорщик Синельников и унтеры — двоих не хватало. Проверили по спискам, и оказалось: исчезли Кармалюк и Хрон. Как ушли? Когда? Это для всех было загадкой.

— Чисто сработали! — восхищались земляки.

— Чисто-то чисто, да не уйти им далеко, — говорил орловский мужичок. — Право слово! Пошатаются по тайге и явятся с повинной, спасаясь от голодной смерти. А не явятся, то ищите их весной, когда снега стают. Такие случаи уже бывали. Вырвутся из этапа, да и протянут ноги где-то в сугробе. Нет,

бежать в такую холодину — это отчаянная затея.

— Не горюй о них! Они воробьи стреляные. Их на мякине не проведешь. А ежели ты умнее их, то скажи мне вот что: как они ушли? А? Не хватает ума загадку эту решить? А у Кармалюка хватило! А ежели у них хватило ума отсюда улизнуть, то хватит и пробраться куда следует.

— Одно слово — молодцы! Пролезли, как тот верблюд, в ушко иголки. Да поможет им бог в пути…

Несколько дней отправляли солдат и казаков на поиски беглецов, и партия с замиранием сердца ждала возвращения погони. Спорили: поймают или нет? Но проигрывали третий день те, кто уверял, что поймают. А тут барабан забил генерал-марш. Прощай, Перитино, пошли дальше. Перехода четыре еще оглядывались — не везут ли? — но беглецов точно и в самом деле где-то снегом замело.

БОЙ СО ШЛЯХТОЙ

Як пани цеє почули,
Не один жахнувся,
Що й Кармалюк із Сибіру
До нас повернувся…

В Каменец-Подольскую градскую полицию 3 июля 1819 года прибыл пакет, щедро облепленный сургучом. Когда его вскрыли, то он произвел впечатление разорвавшейся бомбы.

— Кармалюк опять бежал!

«Казанский ордонанс-гауз, с возвращением открытого листа и при нем шнуровой книги, учиненной на записку прихода и расхода денег, отпущенных на путевое продовольствие», уведомлял, что Кармалюк «учинил побег из путевой тюрьмы». Прилагалось описание его примет, в котором многое было переврано.

В то время когда полиция читала это послание, Кармалюк был уже на Подолии в селе Французовке. В родные места он сразу не пошел, ибо знал: власти, получив известие о побеге, прежде всего будут искать его на родине.

Вместе с Данилом Хроном, Иваном Черноморцем — тоже беглым рекрутом — и крестьянами села Французовки Кармалюк сделал несколько нападений на шляхтичей. А когда облавы в окрестностях Головчинцев прекратились, он перешел в родные места. Сначала тайно, а потом все более открыто он навещал семью, помогал жене по хозяйству. И вообще вел себя довольно мирно. Его никто не трогал, и он тоже никого. За круговой порукой крестьян, которые видели в нем своего защитника, он жил, как за стеной крепости.

Но хотя Кармалюк и жил дома почти открыто, такое положение его не удовлетворяло. Он все чаще начинает заводить разговор о том, что надо уйти из Головчинцев куда-то на юг, где можно устроиться и спокойно жить. Жена, видимо, не очень охотно соглашалась уходить так, как это делали другие крестьяне: не зная, куда они идут и что их там ждет. Тогда Устим сам ушел к Черному морю искать место для переселения. Денег у Кармалюка не было, и он добывал их тем, что помогал чумакам, с которыми пробирался на юг, а на хуторах сапожничал, батрачил. Свое хозяйство он строил только на трудовые деньги. А что бы, казалось, проще: разгромить имение какого-нибудь пана, забрать деньги, приобрести себе землю и жить. Нет, он так поступить не мог. В этом сказалась не только черта его характера, но и его

мировоззрение: он всегда отдавал крестьянам то, что отбирал у панов. Он наивно полагал, что если отобрать у богатых все и раздать бедным, то на свете не будет неправды.

Скитался Кармалюк больше года. Не так легко, видно, было и деньги заработать и место подходящее найти. Возвратился он в Головчинцы только перед новым, 1822 годом. И, как показала его жена Мария на допросе, он «на степях собрал себе место для жительства. Познакомился с тамошними жителями, бывал у них за кума. Купил корову для семейства и намерен землю на зиму засеять. А под осень хотел все семейство забрать…».

Таковы были планы Кармалюка.

В этой попытке отойти от активной борьбы сказались его ограниченность и непоследовательность, которые были свойственны и многим другим крестьянским протестантам, выступавшим против крепостного гнета. Несмотря на то, что в это время Кармалюк пользовался большим влиянием в среде крестьянства, он не мог организовать широкие массы на борьбу за свои права. Он, подчиняясь общему движению, идет в другие места искать лучшей жизни.

Кризис крепостной системы в России — а значит, и на Украине — в начале тридцатых годов особенно обострился. Экономика крепостного помещичьего хозяйства Украины держалась в основном на торговле хлебом со странами Западной Европы. Из всех губерний тянулись в Одессу чумацкие возы, груженные отборной пшеницей для Франции, Англии, Испании и других стран. Но в конце двадцатых годов в этих странах принимаются законы, запрещающие ввоз хлеба. А на рынках тех стран, куда ввоз был разрешен, появляется дешевый американский и египетский хлеб. Потеряв рынок сбыта хлеба, помещики начинают заниматься скотоводством, для чего сгоняют крестьян с земли и отводят их пашни под пастбища.

Начинается усиленное строительство примитивных, лишенных элементарных условий для труда винокурен. В 1819 году на Подолии было около пятисот пятидесяти винокурен, дававших сотни тысяч «горячего вина». Каждое третье зерно перегонялось на водку. А крестьян, в свою очередь, помещики принуждали покупать — и только в их корчмах — этот «продукт» своего производства. Если у крестьянина не было денег, давали водку в долг, а потом с молотка продавали все его добро. И спасение крестьяне, лишившиеся земли и всех пожитков, видели в одном: в бегстве от мучителей своих.

Вернувшись от моря, Устим несколько раз говорил с женой. И она будто соглашалась уйти с ним. На зиму глядя, страшно было срываться с места. Но вот подошла весна, а Мария все тянула. И

Устим понять не мог: передумала она или чего-то боится. Он не очень надоедал ей, так как за это время понял: не будет ему и там покоя. Не будет, потому что и там есть паны и исправники. Но раз уже дело начато, надо доводить его до конца. И он решил поговорить с Марией.

— Боюсь я, — отвечала Мария на все его доводы. — Мы и за село не выйдемо, як воны догонять нас…

— Не догонять!

— Догонять! Вси уже знають, що ты хочешь увезты нас. Мени сам справнык це казав.

— Мария, — ласково говорил Устим, обнимая ее за худые плечи, — ты ж казала, що на край свита пидеш за мною. Я рик блукав та мисця щукав. У меня там и жито посияно, и гроши за корову заплачены и хата в аренду прыговорена, и з людьми я там подружився так, що за кума у ных бував. Ну, що тоби ще?

— Справнык говорыть, що и там тебе пиймають и в Сыбир погонять. А що я буду робыты тоди одна? Тут хоть батько, браты, сестры. А там вси чужи…

Что Устим ни говорил, Мария твердила одно: и тут горько, но и туда, в чужие края, уходить боязно. А главное — она сердцем это чувствует — им не дадут убежать. Поймают. А что тогда будет, страшно и подумать. Ее тоже погонят в Сибирь, а дети по миру с протянутой рукой пойдут. Нет, лучше еще потерпеть. Подождать. Может, как-то оно все по-другому сложится.

— Пожыв бы ты тильки тыхо, — робко начала просить Мария, — не зачипав никого.

— Про це ты мене не просы! — вдруг посуровев, властно сказал Устим. — Я не терпив неправды и не буду терпиты! Я не прощав панам смертных обид своих и людскых и прощаты не буду!

— Цього я и боюсь, — еле слышно выдавила Мария то главное, что мешало ей уйти с ним. — Ты и там не стерпыш и почнеться все, як и тут.

Устиму нечего было возразить: он не мог обещать жене, что будет там безропотно ложиться под панские розги. Она сказала то, о чем и он не раз думал, что душой чувствовал: пока на свете есть паны, ему не будет покоя. У него пропало желание уговаривать ее.

Из Головчинцев в Литин прискакал нарочный с пакетом. В пакете был рапорт в нижний земский суд, в котором сообщалось:

«С 4-го на 5-е число настоящего м-ца, ночью, пришло неизвестных несколько человек, узброенных в пики, на дом шляхтича Павла Опаловского, жителя приселка Майдана-

Головчинецкого. Прежде вызвали, дабы им отворили. А когда упомянутый шляхтич, не отпирал, то они повыбивали окна и двери, войдя в горницу, начали бить домашних и велели дать себе денег и ключи от приборов, то хозяин принужден был дать им все, лишь бы даровали ему жизнь.

Довольно, что забрали целого имения до полторы тысячи золотых составляющего, вывели у него же из конюшни пару лошадей, сложили все на возы и бежали… О чем экономия головчинецкая, донеся оному суду, просит помощи на такой разбой, ибо подобных нападений удобно надеяться можна на каждого из жителей, когда собравшиеся несколько десять разбойников не воровским образом, но явным разбоем нападают.

Дано в Головчинцах 6-го марта 1822 года».

А ровно через шесть дней из села Овсяников поступил рапорт: «Разбойники напали на хозяина Леська Базилицкого».

Хотя в рапортах прямо не указывалось на Кармалюка, но «по доходящим сведениям» суд пришел к заключению: это дело его рук. Была составлена комиссия из членов суда, которая открыла свое «присутствие в селении Овсяниках и приступила секретным образом производить следствие и розыск. А для нужных секретных россылок и разъездов вытребовала из дальних деревень верховую шляхту, кроме имеющихся ныне при земском исправнике Литинской инвалидной команды двадцати шести рядовых, которые також употребляются с подруки секретным образом для разведывания».

Короче: все силы уезда были приведены в боевую готовность. Во главе этого храброго воинства стал исправник Улович. Кармалюка он давно считал своим личным врагом. Три года прошло с тех пор, как Кармалюк вернулся из Сибири в его владения и не дает ему покоя. Осенью прошлого года сжег — второй раз! — винокурню пана Пигловского. Пан Пигловский еще после прошлого пожара запил с горя да вскоре и умер. А на пани Розалию муторно смотреть: высохла от постоянного страха, как мумия. Хлопы ее совсем распустились. Чуть прижмет какого — в глаза говорят: по Кармалюке, мол, соскучилась. Жена Кармалюка родила еще одного сына. Знать, он, разбойник, постоянно бывает дома. А спроси любого хлопа — божится, антихрист, что и не видел и не слышал.

Да не только хлопы пани Розалии обнаглели. И в других селах панов и слушать не хотят, Кармалюка же встречают, как батька родного. А он щедро платит им за это: одному на волов даст, другому — на корову. Деньги-то отнимает немалые. У одного Опаловского он хапнул более двух тысяч золотых. А корова всего каких-то двадцать рублей стоит. И летит молва:

Кармалюк у богатых отбирает, а бедным раздает. Кто ж такого человека станет властям выдавать? Из загоновой шляхты, может, кто-то и указал бы, где он скрывается, так боятся: коль никакие замки его не держат, то вернется и отомстит, как отомстил пани Розалии и другим врагам своим. Покойнее не трогать его. А он, почуяв силу свою, и совсем уж ничего не боится. Опаловского так избил, что того и гляди богу душу отдаст. Базилицкий тоже чуть жив. И так напуган, что ничего толком добиться от него нельзя.

— Ну, вы видели тех разбойников? — спрашивает исправник.

— Только двоих. Тех, что вязали и производили тиранство.

— Каковы они из себя?

— Лет молодых.

— А росту какого?

— Посредственного.

— С лица какие?

— Один чернявый. Пострижен кругло, лицо круглое. Другой русявый. Лицо продолговатое, рябоватое, волосы сзади до плечей…

— Как говорили? — вытягивал, точно клещами, исправник с Базилицкого.

— По-русски. Но по имени и прозванию один другого не звали. И кто они таковые были, не могу сказать…

— А заметка есть на кого-нибудь?

— Нет. Никого в произведении сего злодеяния зазревать не могу.

Вот и лови злодеев по таким показаниям. Понять даже трудно: действительно ли он с перепуга никого не узнал или боится назвать, чтобы они еще раз не пришли к нему? И твердит: «Зазревать никого не могу». Да ведь всей губернии известно, кто разбойничает в уезде.

Назвать имена боится, а рапорты шлет: «Спасите». Ну, народец…

Не стало мужикам житья. По селам то и дело гарцуют на конях, как на парад, разодетые шляхтичи» Кричат, стуча в окна хат нагайками:

— На облаву выходи!

— А кого ловлять? — не выходя из хаты — авось пронесет мимо, — спрашивает крестьянин Томко с таким наивным видом, будто и в самом деле не знает, за кем это охотятся. — Мени наказано дрова везты…

— Выходи! Выходи! Это тоже приказ пана! Да не с голыми руками!

— Ружья и у дида не було…

— Выпросишь ты розог, быдло! — вспыхивает шляхтич,

уловив в ответе скрытую насмешку. — С Кармалюком по ночам ходишь грабить, так и коса оружие. А как ловить его — ружье подавай. Бери, быдло, косу и — бегом к церкви!

Бредут мужики, окруженные конной шляхтой, с косами и кольями, понурив головы, точно арестованные бунтари. Мучит их совесть. Да что поделаешь: ведь не своей волей идут, а силой гонят.

— Грих, велыкый грих на душу беру, — говорит Томко, поминутно перекладывая с одного плеча на другое косу, точно она такая тяжелая, что удержать невозможно. — Мени за Кармалюка треба бога молыты, а я ловыты иду його. Вин мене, люды добри, вид погыбели спас…

— Та як же?

— А так. Була в мене пара волив и корова. И тут бида: здох вил. И якраз в сивбу. Потужыв я, потужыв, а сняты треба. Зайняты ни у кого: вси на своих полях чуть управляються. Ну, думаю, прыйдеться иты по свиту с протягнутою рукою. Корова у мене тоже всю зиму на одный соломи жыла, как тилькы на ногах стояла. Продав я вола мяснykам и думаю: куплю пару малых бычкив. Лиг я в клуни спаты. Тилькы став засыпаты — заходить Кармалюк.

«Добрый вечер, Томко!» Я мовчу. «Та озвыся, Томко!» Бачу, що не видкручуся. «Добрый вечер», — кажу, а сам трушуся. Устим каже мени: «Бачыв я, що ты коровою ореш. На тоби сорок карбованцив, купы волы». Виддав гроши и пишов. От якый вин, люды добри, чоловик. А мы идемо на него с дрекольями та косами. Грих, велыкый грих! Та куды ж динешься: мене уже три разы былы за те, що не хотив на облаву иты. Мисця жывого не спыни нема…

Оцепят мужики лес и сидят, а шляхта прочесывает. Недели, месяцы гоняют мужиков на облавы, а все один результат: был Кармалюк, да ушел. И кажется, так окружили, так каждый кустик прощупали — нет. А в кострах, на месте, где стоял его загон, еще и огонь не погас.

— Та николы воны його не пиймають, — говорит Томко, — мынулый рик, чув я, таке було. Оточыли паны лис и чешуть його вздовж и впоперек. И не те що Кармалюка — зайця не выгналы. Силы выпыты та закусыты. Тилькы налыли по чарци — летыть панок. Остановыв коня биля справныка и пытае: «Ну що, ваше благородие, не пиймалы Кармалюка? И повикы не пиймаете його! А колы хочете бачыты його, то дывиться — ось вин!» Сказавши це, вин скинув шапку и показав тавро на лоби. Потим повернув коня, махнув нагаем, тилькы його й бачылы.

— По дома-ам! — понеслась по цепи команда.

— Пиймалы ще раз чорта лысого! — облегченно вздохнул Томко. — И чого тилькы ганяють?

Заседатель Литинского земского суда Гульдин, поселившись в Овсяниках, начал таскать людей на допрос. Он и стращал, и хитрил, и на всякие провокации пускался. Но все это было, как он сам же писал в рапортах, «без желаемой цели». Исправник с инвалидной командой делал повальные обыски в селах, но тоже возвращался в свою новую резиденцию ни с чем. Он нервничал, ругался:

— Ну, послал господь разбойников на мою погибель! И скажите, какая неугомонная бестия этот Кармалюк: куда его ни угонят, все равно возвращается сюда. Пошел было слух, что он подался в черноморские степи. Я и перекрестился. Слава богу! Избавился. И верно: долго не слышно было. А теперь вот опять, смотрите, какие пули отливает. Ну, если только попадется! Сам своими руками выпорю, каналью! Какурин!

— Слушаю, ваше благородие, — вытянулся перед исправником канцелярист.

— Где эти головчинские пасечники?

— В погребе, ваше благородие.

— Давай их сюда!

Канцелярист привел Мыкыту Копорского и Ивана Лукашенко. Их еще третьего дня пригнали солдаты из Головчинцев и закрыли в погреб. У исправника было подозрение, что Копорский и Лукашенко, живя все лето в лесу, где стояла пасека пани Пигловской, постоянно поддерживают связь с разбойниками. Пани Розалия тоже высказывала такое предположение.

— Евангелие целовали? — строго спросил исправник.

— Цилувалы, ваше благородие, — ответил словоохотливый дед Лукашенко. — Цилувалы, хвала богу…

— Так глядите мне: соврете под присягой — в Сибирь укатаю! Поняли?

— Як не понять, ваше благородие, — охотно ответил дед. — Це, просты господы грихы наши, дуже понятно.

— Бывает у вас на пасеке Кармалюк?

— Був. В прошлом роци, в жнива. Мыкыта уже спав, я сторожыв. Идуть двое. З рушницямы, з спысамы.[15] Пидступылы блыжче. Эге! Та це Устым! Ну, думаю, треба Мыкыту будыты…

— А кто второй с Кармалюком был?

— Не знаю. Зовсим невидомый чоловик. А тоже з рушныцею и спысом. Як на сповиди кажу. Так, Мыкыто?

Мыкыта, все время мявший свой картуз так, словно он был мокрый и ему никак не удавалось выкрутить его, кивнул головой.

— Бачыте, ваше благородие! Вин тоже каже. Другый зовсим невидомый чоловик був. А тоже з рушницею и спысом. Це я вам, ваше благородие, як на сповиди…

— Это я уже слышал! — строго прервал деда исправник. — Что было дальше?

— Зибрали воны трыдцать пять вулыкив[16] в одну кучу, щоб спалыты. Я тут и почав його просыты: «Що ты, Устыме, робеш? Нихто не бачить, що це ты спалыв, и пани скаже, що по нашему недогляду пасика сгорила. И кожу з нас за те здере». Вин подумав-подумав та и не став палыты. «Щоб вас, — мовляв, — не зробыты нещаснымы». Пожалив нас. Ну, наказав: «А пани Розалии передайте, що все спалю». Я передав. Дуже вона розсердылась. Хотила розгамы быты, а потим передумала. А моя ж тут яка вына: мени наказано — я и передав…

— А кто он такой, чтобы приказывать тебе? — вскипел исправник. — Пан? Начальник? Зря тебя, мерзавца, пани Розалия не выпорола.

— Та за що ж, ваше благородие?

— А за то, что ты должен был схватить его, связать и представить властям законным! Вот за что! А ты вместо того шапку небось перед ним ломал, как перед паном! Так винокурню второй раз Кармалюк сжег?

— Своимы очыма я не бачыв, ваше благородие, бо на пасици в ту нич був. А люды кажуть, що Кармалюком спалена. Було це в прошлому роци, в осинню пору. Тилькы зибралы и зложылы хлиб в скырды — все и згорило…

— А где Кармалюк пристанище имел? С кем сопряженность и товарищество держал?

— Про це, ваше благородие, бачыть господь бог, я не знаю.

— А жена его имела связь с ним?

— О Марии, ваше благородие, грих щось погане сказаты.

— Ну, а дома Кармалюк все-таки бывал?

— Не бачыв, ваше благородие, и не чув…

— Врешь, каналья! — стукнул кулаком по столу исправник. — От кого же его жена детей рожает?

— Не можу цього сказаты, ваше благородие. А хлопци родяться. И моторни таки! — восхищенно сказал дед, точно это исправнику приятно было слышать. — Та тилькы круто Марии прыходыться з нымы. Куды як круто…

— А я вот и еще прикручу ее! Ишь, какая святая: дает преступнику пристанище, детей приживает с ним, а они твердят мне: поведения хорошего. Да за одно это все село высечь надо! И я доберусь до вас, канальи! Я научу вас правду говорить! Какурин! Убери этих остолопов!

— В погреб закрыть, ваше благородие?

— Пусть домой идут! От них все равно толку не добьешься. А пани Розалии напиши, пусть высечет их, мерзавцев!

— Та за що ж, ваше благородие? — удивился дед Лукашенко. — Мы ж все, як на сповиди…

— Пошел вон! — кинулся выталкивать старика Какурин. — Пошел, пока и здесь не всыпали…

Возвращаясь домой, дед Лукашенко ругал исправника, а Мыкыта только вздыхал. Шел к концу март. Снега уже стаяли, и начали протаптываться тропинки. Скоро опять нужно вывозить пасеку в лес. Так как это было по пути, то решили зайти посмотреть, что там делается. Выбрались на поляну, глядь: из трубы куреня дым валит. Не успели сообразить, что делать, как увидели — вышел Кармалюк и зовет их. Пошли. С Устимом в курене было еще двое. Дед обоих узнал. То были Майданюк и Добровольский. С этим самым Майданюком Устим и прошлой осенью приходил.

— Ну що, диду, — весело спросил Устим, — пиднис вам справнык чарку?

— Наказав, щоб пани пиднесла, — в тон ему ответил дед.

— О як! — рассмеялся Устим. — Нашою чаркою вы тепер, мабуть, побрезгуете?

— Та ни, — поглаживая усы, совсем оживился, дед Лукашенко, — вашу выпью, а панською опохмелюсь.

— Тоди тягнить! — поднес Устим деду свою походную чарку. — И жывить ще сто рокив!

— Ну, слава Исусу! — перекрестился дед, беря чарку.

— По вик слава! — сказали все вразнобой.

— Ну, як справнык? — спросил Устим, явно желая перевести разговор на другое. — Лютуе?

— Все допытувався про твий прошлогодний прыхид на пасику. Про Марию. Дуже сердывся, що вона дитей вид тебе роде. А я хотив сказаты: «Який же то грих, ваше благородие? Вона ж законна его жинка». Та вин почав кулаками по столу стукаты, и у мене те з головы выскочыло. Згадав уже, як пысарь в потылыцю выштовхував…

Сидели в курене до самой ночи. Дед Иван советовал Устиму уйти куда-нибудь подальше хоть на время. Уж больно паны засуетились от перепуга, озлились, как потревоженные шмели. Слух идет, что солдат у губернатора просят. А мужикам и вовсе житья нет: день и ночь на облавы гоняют. В караулы к панским домам снаряжают. Ночь мужик панский дом стережет, а днем идет поле ему пахать.

— Так им, дурням, и треба! — сердито сказал Устим. — Хай

не оберигають вид мене панив, а бьют их!

— Це так, — согласился дед. — И каждый бы рад, але…

— Що «але»? Страшно?

— И це так, ничого гриха таиты, — отвечал дед. — Та и те взять: ты налетив, спалыв и улетив. А хиба кожен так може?

— Чому ж ни?

— А хата, а симейство, а господарство…

— А у мене нема симьи? Нема хаты? Нема жинки? Нема дитей? Чи вы думаете, мени не хочеться походыты за плугом на своему поли? — гневно сверкая глазами, спрашивал Устим, ибо этот разговор задел его за живое. — Чи жыты мени не набрыдло с пистолем в головах замисть подушкы? Чи я доброю волею жыття соби таке обрав?

— Знаю, не по добрий воли…

— А в якому ж святому пысанию сказано, що паны в нашей Подолии будуть пануваты, а мы в Сыбири гыбнуты? Ни, диду Иване! Це наш край! Це наша земля, а не панська!

Дед Иван и Мыкыта ушли. Майданюк и Добровольский уснули, а Устам сидел в углу куреня и дымил трубкой. Смутно у него было на душе.

В 22-й день марта месяца 1822 года «экономия комаровецкая, осведомясь, что три разбойника с ивановецкого леса перешли в комаровецкие леса, собрала людей до 20-ти пеших и конных до 10-ти и людей дворских равномерно 5, двинулись за ними скорым шагом, коих с большими дручьями в лесу догнала, и хотя взять их усиливались, однако они грозились лишением жизни, ежели бы который отважился до них подступить. Видя еще строго дерзновенных, ожидая более собрания людей пеших, преследовала их, но они скорым шагом, переходя уже с комаровецких грунтов в грунта каричинецкие, и в леса вошли.

Но комаровецкая экономия, не упуская их из глаз, всегда их преследовала и за ними поспешала. А когда из каричинецкого леса вошли в дубину, то один из дворских людей, Матвей Фурман, и восемь других конных пустили вдогонку лошади, желая их поймать, то с помежду трех один, обратясь, так сильно того Фурмана ударил друком, что бывшее в руках ружье переломил и руку его немилосердно пришиб, и лошадь одну отобрали и, подбегши к прочим, выстрелили. Но те разбойники, с выстрелов насмехаясь, далее, бежать усиливались и уже за грунта галузинецкие перешли.

А между тем экономия комаровецкая, догоняя их далее, откомандировала двух от себя конных — одного в Галузинцы, а другого до экономии шейнецкой, дабы те два имения дали

пособие для поимки разбойников.

И хотя со стороны Шеинец и Галузинец умножилось число людей, те, однако, дерзкие, добровольно отдаться не хотели и, большими друками угрожая, отзывались, что кто приступит ко взятию их, лишится жизни. То собравшиеся из толико имений люди, когда и день уже истекал к вечеру, начали по их стрелять…».

Когда Устим выбил из рук Матвея Фурмана ружье и сбросил его с коня, Майданюк крикнул;

— Батьку, тикай!

— Тикай! — поддержал Майданюка и Добровольский. — Уходи, а мы задержим их!

Но основные силы загона были далеко и уходить — значило отдать товарищей в руки врагов. На это Устим не мог согласиться, зная, что шляхта осмелеет и сомнет Добровольского и Майданюка, как только увидит, что атаман умчался. Этот неравный бой — трое против семидесяти! — они должны выдержать до ночи, а там уж уйдут. Быстрее бы только темнело! Сделали попытку отбить еще двух коней. Устим уже сбросил с коня шляхтича, но эконом Станиславский, командовавший этим воинством, поняв, что они вот-вот уйдут, приказал:

— Стреляй!

Однако храбрые шляхтичи не отважились спустить курки. Они только размахивали ружьями и кричали, что будут стрелять. Тогда сам Феликс Станиславский выстрелил. За первым выстрелом грянул залп: Дробь угодила Устиму в ногу, Майданюку в плечо. Увидев, что Кармалюк захромал, а Майданюк не может удержать в руках свое единственное оружие — суковатую дубину, шляхтичи с криком «ура!» ринулись на раненых и смяли их лошадьми.

«По учинении обыска, связав их накрепко и привезя в Галузинцы, потребовали от наместника подводы воловой. Привезши в село Комаровцы тех в горнице Илька Кравчука поместили, придав стражу до них на ночь из 19-ти человек. И сего числа, в присутствии священника Демкевича, отобрали от них — каждого порознь — показания. Вместе с взятыми показаниями и деньгами 11 рублей таковых разбойников экономия комаровецкая имеет честь представить оному суду. И просит: как на доставление их, так и на отысканные при них деньги и вещи — квитанцию.

Касательно же двух рублей, экономия комаровецкая, вознаграждая усердие громад, велела дать им есть и пить водки. А оставшиеся еще от тех двух рублей два злотых и восемнадцать грошей отдала на дорогу людям, карауливши и до Литина сих

разбойников провожавших».

«Несколько дней держали их в Комаровцах, — пишет польский публицист, защитник шляхты Ролле, который, естественно, всячески старался очернить Кармалюка. — Кандалов и ошейников железных не было под рукой, а веревки Кармалюк рвал без малейшего усилия. Только уже после того как изготовлены были кандалы, атаман разбойников, прикованный к возу, весь в тяжелых оковах и под конвоем в 60 человек, отвезен в Литин. По дороге собирались толпы крестьян, чтобы посмотреть на знаменитого гайдамаку. Кармалюк шутил, любезничал с девчатами, предсказывал свое скорое возвращение и обещал с лихвой отплатить тем, которые его поймали. Народ отходил с крепкой верой, что разбойник сдержит слово».

Исправник, узнав, что Кармалюк арестован, прискакал из Овсяников в Литин. В присутствии заседателей суда, составлявших комиссию, орудовавшую в Овсяниках, начался допрос.

— Зовут Василием, — отвечал Кармалюк на первый вопрос, — а прозывают Гавриленком…

— Ка-ак?! Что-о?! — изумленно замигал глазами исправник. — Ну-ка, еще раз повтори?

Кармалюк повторил то, что сказал: он Василий Михайлов, сын Гавриленков. «Родился за границей, в Австрии. Около Замостья. Но в какой деревне — не помнит за малолетством, из которой ушел в город Станислав, имея от роду десять лет. Неграмотен. Холост. У исповеди и святого причастия бывает ежегодно. Последний раз исповедался в Херсонской губернии, Тираспольского повета, но где именно — не знает…».

— Врешь, мерзавец! — так грохнул исправник кулаком по столу, что канцелярист Какурин кляксу на протоколе поставил. — Врешь, каторжник! Я ведь твою клейменую рожу хорошо помню! Ишь, каналья, куда гнет: «Я австрийский подданный, переправьте меня за границу». Не выйдет! Я тебя, мошенника, уличу! Я тебя проучу!..

— Ваше благородие, — осторожно заметил заседатель Гульдин, — может, отберем все показания, а тогда уже…

— Да он же, каторжник, все врет! Ну хорошо: пишите дальше. Пишите, а я потом с ним поговорю!

Назвав себя вымышленным именем, Кармалюк в показаниях так искусно сплел выдумку с правдой, что исправник никак не мог понять, чему верить, а чему — нет. Обошел этот Гавриленко почти всю Россию. Был он и в Москве, и в Киеве, и в Казани, и в Астрахани, и в Крыму, и в Орле, «где у пристани реки Оки занимался работой — выгрузкой хлеба и других товаров». Из

Орла ушел в Киев, а оттуда — в Херсонскую губернию «по хуторам на заработки», где пробыл целый год. Вернулся он оттуда только в конце 1821 года. Это последнее было чистой правдой — Устим действительно ходил в черноморские степи искать место, чтобы поселиться там с семьей. Говорил он об этих мытарствах своих по хуторам Херсонской губернии правду, потому что она ничем повредить ему не могла, а пробел в жизненном пути заполнялся. Ни одного хутора, ни одной фамилии он не назвал.

«На разбоях не бывал, — записывал канцелярист Какурин, косноязычно пересказывая ответы Устима, — про разбойников неизвестен, как равно, кто ограбил Базилицкого и Опаловского, коих не знает, вовсе неизвестен. Устимом Кармалюком не есть и не называется и о таковом не знает».

— Ну наговорил семь бочек арестантов! — покрутил головой исправник, вытирая платком вспотевшую жирную шею. — Ну навертел, мерзавец! Эх, не моя на то воля, а то бы я тебя, гайдамаку, на первом же суку повесил! Хорошо! Посмотрим, что ты запоешь, когда я тебя поставлю перед женой и детьми! Перед всем селом, где тебя знают, как облупленного!

Вернулся исправник в село Овсяники и послал за Марией солдат.

— Со всем гайдамачьим выводком представить! — приказал унтеру.

— Связанную или так?

— Болван! Куда же она убежит с детьми?

— Слушаюсь, ваше благородие!

Унтер налетел на дом так, точно крепость штурмом взял. Выволокли Марию, не дав даже головы покрыть платком, вынесли перепуганных сыновей Остапа и меньшего Ивана. Старший Иван, оттолкнув солдат, сам полез на телегу. Услышав крик и плач, к хате побежал народ. Бабы запричитали, будто из хаты выносили покойника. Дети завторили им. Мария, думая, что ее увозят куда-то в Сибирь — а ее этим не раз пугали, — умоляла, чтобы ей разрешили хоть для ребят что-нибудь взять. Но унтер неумолимо твердил:

— Приказано без всего доставить!

Но бабы, не слушая солдат, вытаскивали из хаты тряпье и кидали в телегу. Унтер принялся было выбрасывать обратно, тогда возмущенно загудели мужики, плотным кольцом обступая телегу. Унтер, махнув рукой, приказал:

— Трогай!

В это время из Литина везли в Овсяники Устима. В кандалах, прикованного цепью к возу, под конвоем тех же 60 человек. Исправник решил устроить ему очную ставку с женой, детьми и

односельчанами. Но прежде чем поставить Кармалюка перед женой, он принялся допрашивать ее. Пригрозив, что если она не скажет правду, то ее и домой уже не отпустят, а отправят прямо в Сибирь, он спросил:

— Бывал муж у тебя?

— Бував, — тихо ответила Мария.

— Этого с ним прижила? — указал исправник на младшего Ивана, которого Мария держала на руках.

— З ним, ваше благородие, — со вздохом отвечала Мария, будто признавалась в чем-то греховном.

— Да как же ты смела! — загремел исправник. — Да за одно это под суд, на каторгу! Ну, что молчишь? Отвечай!

— Вин же мий чоловик…

— Преступник! Каторжник! Гайдамака! Вот кто он прежде всего! И не детей приживать с ним, а властям доносить о нем — вот что ты должна была делать! Кто с ним еще переховывался у тебя? Каких преступников ты еще кормила и поила? И не крути и не винти! Я все равно обо всем дознаюсь, и тогда еще хуже будет! У кого из жителей села он бывал?

— Того вин не видкрывав мени. Тилькы сам Василь Тимков казав, що Устим часто заходыв до його.

— Какурин, записал Тимкова?

— Так точно, ваше благородие! Но он давно в рекруты отдан!

— А-а, так вот почему ты назвала его! Говори, у кого он бывал из тех, кто сейчас в селе живет! Где скрывался?

— Не знаю.

— Куда дела то награбленное добро, которое он тебе приносил?

— Ничого вин не приносыв. Дав дитям тилькы чоботы, яки сам шыв…

Против этого исправнику нечего было возразить: он от многих уже слышал, что Кармалюк мастер на все руки. Это и помогает ему проходить по чужим местам, так как он всюду может заработать кусок хлеба. Но одного исправник понять не мог: куда же он девает те деньги, что отбирает у панов? Семье он явно ничего не приносил: исправник сам делал несколько раз обыски и видел, в какой нищете живут его жена и дети. Но неужели народная молва правду говорит, что он все добро раздает бедным? Это совсем непонятно: отбирать только затем, чтобы отдавать другим — черт знает что!

Старший сын Иван — ему шел пятнадцатый год — повторил все то, что сказала мать. Когда спросили, у кого из жителей села отец бывал, он назвал того же Василия Тимкова да Максима Варака, «ушедшего со всем семейством сего года в марте месяце».

Это больше всего взбесило исправника.

— Ты что же, гайдамацкий выродок, называешь только тех, кого в селе нет? Кто тебя научил? Батько? Мать? Да я сейчас же прикажу снять с тебя штаны и всыпать розог!

Но угрозы исправника не испугали Ивана. Нахмурив такие же широкие брови, как и у отца, он упрямо молчал. Потом сказал еще, что отец «несколько разов ночевал в доме, а другие разы хотя и бывал, но скрытно от него, показателя, и после о том, что было, мать не сказывала».

Запер исправник Марию в хате-пустке и поставил стражу. Сделал он это не потому, что боялся, как бы Мария не убежала, а чтобы припугнуть ее. Пусть, мол, почувствует, каково-то сидеть под ружьем. Пусть увидит, что он не бросает слов на ветер, и если сказал, что упрячет под замок, то так тому и быть. Может, у нее под арестом язык развяжется. А то свыклась с тем, что ее только пугают, но не сажают, розгами не порют. Вот и отпирается от всего. Нет, на этот раз розог ей не миновать!

Канцелярист Какурин так записал сцену очной ставки Кармалюка с сыновьями: «Не только показатель вышеизъясненный Иван, еще и другие два сыновья — Остап лет восьми и третий, Иван лет пяти, в глаза отцу своему Устиму Кармалюку (он же Василий Гавриленко) уличия делали. Первый из них повторил показание свое, а последние, целуя отца в руки и лицо, утверждали, что он есть в действительности их отец родной… противу чего сей последний, хотя с изменением себя в лице и дрожавшим голосом, чинил запирательство…».

На очной ставке с женой Устим просто молчал, «упорно оставаясь на своем показании». Вызвали протоиерея Григория Левицкого и с его «духовным увещеванием» начали опять допрос. Но Устим почти слово в слово повторил то, что показал на первом допросе. Раз приняв какое-то решение, он, как и всегда это делал, уже не отступал от него.

Пригнали мужиков из Головчинцев и Дубового. Они тоже заявили, что знают «показанного им ныне налицо человека, именующегося Василием Гавриленком, знают довольно, яко он есть по имени Устиян, а по прозванию Кармалюк, родился, взрос и женился в селе Головчинцах. В продолжение жизни его худых поступков не приметили за ним…»

Но когда мужиков спросили, где Кармалюк «после последнего побега имел пристанище и производил ли с кем-либо какие грабительства», то все в один голос ответили, что не знают.

На том допросы да очные ставки и закончились. Под охраной солдат и конной шляхты Кармалюка повезли в Каменец-Подольск.

БУНТ В ТЮРЬМЕ

Бережіться, пани-дуки,
Буде, буде біда,
Прийде, прийде Кармалюка,
Він вас ся навіда…

Всем казалось странным: почему Кармалюк и после того, как его опознали, продолжал утверждать, что он Василий Гавриленко. Многие это считали глупым упрямством. А между тем Устим делал это с расчетом. Он не сомневался в том, что его опознают, но ему нужно было другое: затянуть, запутать следствие и выиграть время для подготовки побега. Он изучил уже все законы и знал: кто бы ни доказывал, что он Кармалюк, а не Гавриленко, канцелярия будет делать свое. Пойдет запрос в Белозерский полк — был ли у них Василий Гавриленко и когда убежал? Там «учинят выправку по делам», и пока та выправка доползет до Каменец-Подольска, можно сто раз убежать.

И Кармалюк не ошибся. Прошло лето, наступила осень, а писаря все скрипели и скрипели перьями, «учиняя выправки по делам». Устим еще в прошлый раз, сидя в Каменец-Подольской крепости, был избран старостой. И когда его вновь посадили туда, «все поклялись ему в безусловном повиновении. Не прошло нескольких дней, как у него был готов план побега».

Следствие было закончено в декабре. Устим все лето тяжело болел, а потому и не мог бежать. И теперь, чтобы оттянуть время, он, «посредством правящего должность каменецкого поветового стряпчего, входит к губернскому правлению с прошением, домогаясь оным возврата восьми рублей серебром, отобранных у него при задержании». Начинаются опять запросы: кто отобрал? да куда дели? Из Литина ответили, что исправник употребил деньги «на сделку железных ручных и ножных с ошейниками кандалов, которые и поныне на нем находятся». И если, дескать, суд оправдает Кармалюка и определит, кто должен возместить ему убыток, то «в таком разе собственность его пополнится».

На выяснение этого дела ушел месяц. Но не успели объявить это решение Кармалюку, как по инстанции пошла вторая бумага. Кармалюк утверждал, что эконом селения Французовки Вишниовский должен ему пятьдесят рублей серебром, которые он требует вернуть. А главное: в том селе он «повстречался с товарищем своим, тоже беглым рекрутом, по прозванию Черноморцем». Суд сразу же клюнул на это, и, «желая и сии предметы присовокупить к делу о Кармалюке, приостановился с

решением такового». Эта новая задержка вызвала гнев генерал-губернатора Бахметьева, на которого сыпались нарекания от панов за то, что он в прошлый раз отменил смертный приговор Кармалюку.

На грозный вопрос, почему суд второй год тянет дело Кармалюка, Бахметьев получил разъяснение: Кармалюк слишком глубоко пустил свои гайдамацкие корни в народе. К делу привлечено уже более ста человек, а сообщники его и придержатели далеко еще не все арестованы. Выяснилось, что на воле разгуливает правая рука Кармалюка некий Черноморец. Он действует, прикрываясь именем Кармалюка, и держит в страхе весь Балтский уезд, о чем суд имеет точные сведения. И сам Кармалюк не отрицает, что Черноморец из его шайки. Было бы, конечно, весьма ценно приобщить и этого Черноморца к делу. Исправникам разосланы соответствующие бумаги. Последнее обстоятельство окончательно вывело генерал-губернатора из себя.

— Очень хорошо! — иронически заметил он. — А ежели по этим бумагам этого Черноморца будут ловить, как Кармалюка, ровно три года?

И он предложил суду поспешить с решением дела Кармалюка и всей его шайки, немедленно вынести приговор и представить на ревизию по принадлежности. По исполнении — рапортовать ему.

Это грозное «предложение» генерал-губернатора было послано в суд 6 декабря 1822 года. Но только 21 февраля 1823 года в 1-м департаменте Подольского головного суда слушалось «подлинное дело о пойманном в Литинском повете на разбое Устима Кармалюка, именующим себя Василием Гавриленком», куда оно было послано на ревизию из Каменецкого уездного суда.

Приговор гласил: «Признав оного Кармалюка… яко явного преступника, изобличенного в грабеже многократном и покушении на жизнь человеческую, наказав большим против прежнего числа ударов кнутом, а именно — 101-м, и по выставлении предписанным порядком постановленным такого рода преступникам знаков, сослать вечно в каторжную работу».

Не оставили в покое на этот раз и Марию. «За необъявление перед правительством о пребывании того ее мужа в околицах Головчинец и дачу тем случая к продолжению его поступков, выдержать ее при Литинской градской полиции под караулом четыре недели, а потом на грунте села Головчинец, в пример другим, наказать пятьюдесятью розгами».

Этот приговор пошел на конфирмацию гражданского губернатора графа Грохольского, так как Кармалюк в прошлый раз был лишен генералом Бахметьевым воинского звания. А

Устим в это время усиленно разрабатывал план побега. Дело к губернатору и обратно будет ходить больше месяца, значит за это время нужно во что бы то ни стало вырваться на волю.

В четвертой камере, где после суда сидел Кармалюк, было двадцать восемь человек. После долгих споров решили: вырваться из крепости боем. Устим разработал план штурма. Каждый знал, какого часового сбивать, куда бежать. Были предусмотрены и возможные неожиданности. Устим строго приказал:

— Помните: часовые будут стрелять. И кому пуля страшнее неволи, тот пусть лучше с нар не встает. Трусы будут только под ногами путаться и другим мешать.

В конечном итоге из двадцати восьми человек отобралось одиннадцать, которые решили: или воля, или пуля. Остальные поклялись, что ни словом нигде об этом не обмолвятся. И все-таки о заговоре начальство крепости, видимо, что-то проведало. В камерах стали делать внезапные обыски; каждый день придирчиво осматривали кандалы и решетки на окнах: не подпилены ли? Часовым унтеры читали нотации при каждой смене «о недремленном их смотрении».

— Зря волнуетесь, ваше благородие, — говорил с улыбкой Устим караульному офицеру поручику Василевскому, когда тот сам принялся осматривать кандалы. — Когда я вздумаю убежать, то эти железки не удержат меня. Но мне к чему рисковать? Я уже решенный, скоро побреду в Сибирь, а там видно будет, что делать. Так, хлопци?

— Так, дорога не крепость, — отвечал за всех Яков Струтинский, который был первым помощником Устима, — там ни стен, ни замков…

12 марта поручик Василевский, сделав перекличку в камерах, проверил часовых, замки на дверях и ушел в караульное помещение. Всю прошлую ночь он кутил в одном злачном месте и не чаял, когда барабан пробьет вечернюю зарю, чтобы завалиться спать. Арестанты ложились спать спокойно, и ночь пройдет, надо полагать, без происшествий. О побеге не может быть и речи: он днем проверил все решетки и запоры. Солдаты его 36-го егерского полка тоже надежные: они ни в какой сговор с арестантами не могли вступить, ибо на это у них просто не было времени. Да если в сговор вступят те, что стоят в камерах, то им окажут сопротивление те, что стоят в коридорах, во дворе, у ворот. Пробиться сквозь такой строй замков и стражи дело совершенно немыслимое даже для Кармалюка, о побегах которого рассказывают просто чудеса. Караульный офицер, сдавая смену, предупреждал его: глядите, мол, господин поручик, в четвертой камере сидит Устим Кармалюк. Если его убережете, то тогда все

будет в порядке.

В десять часов поручик Василевский уже спал. Спали, как казалось часовым, и все узники четвертой камеры. Но вот Яков Струтинский слез с нар и попросил часовых, стоявших в камере, выпустить его. Солдат тихо постучал в дверь. Часовой в коридоре позвал унтера, и тот, погремев связкой ключей, открыл дверь.

А дальше случилось то, чего никто не ожидал, Струтинский, «выйдя в сенцы, крикнул:

— Гу, молодцы!

Вдруг сорвались арестанты и, схватя некоторые из них доски из нар, ударили на часовых внутри палаты и в сенцах стоявших. И тех, закричавших: «Караул!», сбили с ног, отперли внутреннюю у других дверей задвижку, вырвались во двор». Часовой, стоявший у «фрунта», услышав крики и возню, перепуганно заорал:

— Кар-раульные, вон!

«Но пока сии успели схватить ружья и выбежать с офицером и ударить тревогу, арестанты, схватя поленья из дров, близ тюрьмы лежащих, пустились стремглав к воротам. И те? по чрезмерному их усилию и отваге, невзирая на стращание часовых, за воротами стоявших, успели их выломить и разбежаться. Между тем караульный офицер, оставшись на гауптвахте с частью солдат, приказал преследовать бежавших. И как они пустились вслед за арестантами через ворота на поле, где при сильном их противоборствии зарядили ружья и начали стрелять…».

Бежать Устиму мешали кандалы. Струтинский и Матвей Горбанец, схватив его за руки, помогали ему. В темноте эта тройка была лучше других видна, и часовые принялись по ней стрелять. Пули свистели над головами у беглецов, но они, даже не пригибаясь, мчались в сторону черневшего невдалеке леса. До него оставалось уже совсем близко: из черной массы начали проступать очертания могучих дубов, за которыми никаким пулям их уже не достать. И вдруг Устим споткнулся, и товарищи с трудом удержали его.

— Цо? Цо таке? — силясь поставить его на ноги, спрашивал Струтинский. — Зранин?

— В ногу, — сквозь зубы процедил Устим. — А-а, гады…

— Матвий, — приказал Струтинский Горбанцу, — бери батька! Живо!

Друзья подхватили Устима и побежали. Но не сделали они и ста шагов, как Струтинский грохнулся со всего маха на землю. Устим приник ухом к его груди. Убит. Он крикнул Матвею:

— Беги!

— Давай я понесу…

— Беги! Вдвоем все равно не уйти…

— Мене хлопци убьють, як узнають, що я тебе покинув…

Матвей взвалил Устима на плечи и понес. Вот! Вот совсем уже недалеко осталось до леса. А выстрелы тоже все ближе и ближе…

В городе поднялась такая паника, точно взбунтовались крепостные всей губернии. «Собранные с главной гауптвахты военные нижние чины, полицейские чиновники и служители, а также земский исправник, старались всеми способами преследовать и переловить колодников». Его сиятельство граф Грохольский не спал всю ночь, ожидая результатов погони. Он не столько приказывал, сколько умолял:

— Кармалюка! Живого или мертвого. Пусть все бегут, а Кармалюка представьте мне. Ах, какой скандал!

Скандал, конечно, неслыханный. Об этом побеге губернатор должен был немедленно рапортовать наместнику царства Польского Константину. А как рапортовать? Как объяснить, что Кармалюк с одним поленом в руках одолел и стражу и замки? Да чему же после этого удивляться, что народ верит: его никакая пуля не возьмет, никакие замки не удержат! Губернатор приказал немедленно направить в крепость комиссию в составе советника суда господина Словецкого и командира гарнизонного батальона полковника Яковлева. Пусть со всею строгостью раскроют, в каком положении находились тюремные двери и крепостные ворота. А также и сам караул во время возмущения и побега. И особо обратить внимание, не имело ли место послабление с чьей-либо стороны в надзоре и досматривании за арестантами.

От командира 36-го егерского полка, откуда был караул, губернатор потребовал объяснения, караульного офицера поручика Василевского приказал посадить под арест.

Командиру 10-го Уральского казачьего полка, державшего кордонную стражу по границе Австрии и Бессарабии, было послано отношение о строгом примечании, дабы преступники не могли пробраться за границу. Граф Грохольский приказал также написать пограничному правительству и бессарабскому гражданскому губернатору, чтобы в тамошних областях усилены были меры строгого примечания и надзора. Сообщить всем и приметы бежавших разбойников.

Только под утро к губернатору примчался каменец-подольский исправник, доложил:

— Ваше сиятельство, Кармалюк пойман!

— Слава богу! — перекрестился губернатор. — А как другие?

— Вместе с ним еще четыре преступника водворены в крепость. Остальные шесть пока еще пребывают в бегах. Но

солдаты 36-го егерского полка, поднятые по тревоге, продолжают усиленные поиски в лесах и близлежащих деревнях.

— Да надежно ли заперли Кармалюка?

— Надежно, ваше сиятельство! Водворили в папскую башню и приковали цепью к стене. Хоть это и преувеличение власти с моей стороны, но я решительно не вижу, как еще его можно удержать.

— Ничего. Пусть на цепи посидит. Но не доверяйте и цепи. Стражу, самую усиленную стражу приставить к нему.

— Это уже исполнено, ваше сиятельство. В самой башне поставлено два часовых и с наружной стороны двери тоже два. Ключи от двери приказано караульному офицеру постоянно держать при себе. Весь состав караула заменен.

На второй день в селе Пудловцах — в трех верстах от Каменец-Подольска — был схвачен Казимир Борщевский. А пяти человекам — из одиннадцати — удалось все-таки скрыться. Якова Струтинского «предали суду божию».

В башне, куда водворили Устима, было сыро и нестерпимо холодно, хотя печка топилась весь день. Настывшие за зиму почти трехметровые каменные стены ненасытно поглощали тепло. Свет проникал только в узкие окна-бойницы, сделанные на высоте в несколько человеческих ростов. А вечером, когда свет в бойницах угасал, Устиму казалось, что он сидит не в башне, а на дне огромного каменного колодца.

Раненая нога опухла, почернела. И так болела, что Устим несколько ночей глаз не смыкал. А штаб-лекарь твердил: ничего, мол, кость не задета, как на собаке заживет.

— Спасибо, ваше благородие, — в тон ему отвечал Устим, не подавая и виду, как ему тяжело. — Попросите, чтобы меня приковали цепью и за больную ногу. Цепь ведь для нашего брата, как говорит начальство, — лучшее лекарство.

— Нога ничего. А выдержит ли твоя спина сто кнутов?

— Ей не привыкать. Да и я ведь их, ваше благородие, верну панам. И от себя еще добавлю.

Кармалюк не просил облегчения, не жаловался на участь свою. И боль, и холод, и цепь — все он переносил со стоическим спокойствием. Он шутил, чтобы не показать врагам своим, как у него тяжело на сердце оттого, что побег не удался, что убит его верный друг Струтинский. Исправник почти каждый день заходил в крепость, спрашивал караульного офицера:

— Ну, как цепной-то?

— Шутит.

— А нога его как?

— Плохо. Штаб-лекарь говорит, что по всем законам его надо бы в госпиталь определить.

— А сам он просится в лазарет?

— Никак нет.

— Экой человечина! — с невольным изумлением говорил исправник. — Ну терпелив, ну живуч, дьявол! Иной бы уже скулил, как щенок, посаженный на цепь, а ему хоть бы что. А что он еще говорит?

— Все равно, мол, убежит. Нет еще на свете таких цепей и крепостей, которые бы, дескать, удержали его.

— Вот каналья! Ну смотрите же тут в оба! Он и право такой дьявол, что из самого ада уйдет. А я вот пришлю священника, пусть он увещевание духовное произведет. Авось и дрогнет его разбойничья душа. И скажет он, где искать тех пятерых, что ушли. Он ведь знает, где они.

Священник пришел. Он долго «увещевал» Устима. Тот со спокойным равнодушием слушал его, а потом спросил:

— Так это богу угодно, чтобы меня на цепь посадили, как собаку?

Святой отец немного смутился, но тут же оправился и начал сыпать «мудрости» из святого писания.

— И сказано, сын мой: «Но яко разбойника мя прими…».

— А о цепи что сказано? — тая под усами улыбку, спросил Устим.

— Не гневи господа бога, сын мой, — уловив в тоне Устима иронию, строго погрозил ему перстом священник, — а смирись, покайся, и господь простит тебе грехи…

— И губернатор простит? — спросил Устим с самым наивным видом.

— В воле его сиятельства облегчить твою участь.

— Вместо Сибири поставит меня под пулю? — уже сердито спросил Устим, которому надоело словоблудие священника. — Нет, батюшка, видно, ни бог, ни губернатор не помогут мне. Но что делать: такая уж горькая доля моя. В прошлый раз двадцать пять кнутов дали — не хватило, чтобы догнать до Сибири. Теперь они сто один прописали. Да боюсь, что и этих не хватит. Дорога-то дальняя…

3 апреля 1823 года губернатор граф Грохольский рассмотрел приговор суда и, «находя оный с законами и обстоятельством дела согласным», возвратил для приведения в исполнение. Раненая нога Устима к тому времени зажила, и штаб-лекарь дал заключение: можно под кнут. Не снимая кандалов, Устима повели под усиленной охраной на площадь к городской ратуше. На том же месте, где его били прошлый раз, стояла дубовая кобыла. Возле нее расхаживал палач с кнутом.

Сто один удар Кармалюк выдержал, не издав и звука. Сам

встал с кобылы и, к великому изумлению народа, даже не поморщился, расправляя свои окровавленные плечи, а только шумно вздохнул, точно сбросил непомерную тяжесть. Штаб-лекарь кинулся к Устиму, но он оттолкнул лекаря, намочил рубаху в ведре — холодная вода стояла на случай, если бы нужно было приводить наказуемого в чувство, — и, выкрутив ее, надел. Мокрая рубаха прилипла к спине и, напитываясь кровью, на глазах у народа становилась багрово-красной, как полоса заката перед бурей.

Надев рубаху, Устим сел и подставил лоб под иглы клейма. В толпе возмущенно зашумели: что ж это, мол, делают? Человек истекает кровью, а они, не дав даже отдохнуть, клейма бьют. Изверги! Мало их Кармалюк порол, мало жег! А Устим с изрубленной кнутами спиной, с окровавленным клеймами челом — поистине как великомученик за правду и волю! — подняв закованные в кандалы руки, крикнул с такой силой и гневом, что даже солдаты, кинувшиеся было к нему, замерли:

— Бачылы, люды добри, як катують? Так будьте ж свидками: я видсыплю все панам!

— Убр-рать! — заорал на солдат экзекутор и накинулся на палача: — Ты как бил? Ты как порол, мерзавец?

— Ваше благородие… — испуганно пятясь от экзекутора, бормотал палач, — я по всем правилам…

— Молчать! Продался, сволочь! На гауптвахту его! И приготовить розог. Я сам тебя, подлеца, отделаю! Я сам тебя на твоей же шкуре научу, как надо других пороть!

Даже экзекутору, видавшему тысячи выпоротых кнутом, трудно было поверить, что палач не был подкуплен и бил Кармалюка по всем правилам.

Большинству приходилось выхаживать приговор в два, а то и в три приема: штаб-лекарь имел право остановить экзекуцию, если он находил, что наказуемый может умереть под кнутом, — и все равно немало было случаев, когда из-под сотого кнута человека несли прямо на кладбище. Но если уж не на кладбище, то еле живого относили в лазарет. И арестанты, отведавшие и розог, и плетей, и шпицрутенов, и кнутов, говорили, что лучше выходить тысячу палок, чем сто кнутов.

После наказания Устима опять посадили на цепь. Но, кроме часовых, приставили к нему еще арестанта, тот смачивал рубаху в холодной воде и клал ее на вспухшую багрово-синюю спину. Кармалюк молча переносил боль. И только во сне скрежетал зубами и так тяжело стонал, что напарнику его — доброму, богомольному старику — становилось страшно, и он будил его.

— Черт! — ругался Устим, осторожно стирая пот со лба,

чтобы не потревожить исколотое клеймом место. — Снилось, что гонят сквозь строй. Уже сил нет, а конца строю не видно. Жарко!

— Та що ты! — пугался старичок, глядя в полыхавшие нездоровым огнем глаза Устима. — У мене зуб на зуб не попадае, а ты — жарко. Дай я тоби ще сорочку намочу, а кожух не скыдай. Тебе, бач, яка лихоманка колотить. Ну як, полегшало?

— Полегшало, — отвечал Устим сквозь стиснутые зубы: его била такая противная дрожь, которую он никак не мог унять.

— Каменный ты чоловик! От з тебе и высиклы так багато вогню. Шутка це сказать: як час, так и сорочка суха…

Когда дрожь начинала так колотить, что ни рубаха, ни тулуп не держались, Устим вставал. Цепь давала возможность сделать всего три шага. И он ходил, гремя цепью и кандалами. И грохот этот эхом набатных колоколов отзывался в куполе башни…

НА КАТОРГЕ

За Сибіром сонце сходить,
Хлопці, не зівайте,
Ви на мене, Кармалюка,
Всю надію майте…

До Тобольска оставалось всего три перехода. К этому городу Устима гнали больше года. И летнюю жару, и осеннюю слякоть, и лютые морозы — все довелось испытать. Как и в прошлый раз, Устим, идя в Сибирь, пристально изучал путь назад. Кто-то проведал о его намерении сбежать в пути, донес начальнику этапа, и тот сковал Кармалюка цепью с тремя арестантами. Умышленно связал его с трусами и доносчиками и пригрозил: уйдет один — все будут наказаны как сообщники. И Устим без этих «сообщников» не мог и шагу ступить. Они-то и держали его крепче всяких решеток и замков.

В тобольской каторжной тюрьме Кармалюк пробыл около месяца. За это время он узнал, куда, лучше всего попасть на работу, чтобы можно было убежать. И когда начали переписывать, кто какому мастерству обучен, Устим сказал, что он несколько лет работал на винокурне пана Пигловского. А больше, дескать, ничего не знает. Но тут он кривил душой. На допросе в селе Овсяниках он говорил, что в Москве «занимался поденно плотничною работою у купцов Сорокина и Маслакова, а ночь проводил за городом в землянке, состроенной нарочито для сего». Хорошо он знал и ремесло сапожника. В его сумке всегда был весь инструмент, дратва и «салатяный мешочек маленький с гвоздиками, употребляемыми к сапогам». Купцы московские, конечно, знали, что он беглый, но Устим был хороший мастер, работал за гроши — а то и за один кусок хлеба, — и им невыгодно было сдавать его властям. И так всюду: умение делать все давало ему не только кусок хлеба, но и убежище от властей.

В феврале 1825 года в камеру зашел надзиратель, крикнул:

— Кармалюк!

— Здесь я! — поднялся Устим с нар.

— В кордегардию!

В кордегардию обычно вызывали тех, кому прописывали за что-нибудь розог. Кармалюк готовил побег и думал, что кто-то уже проведал об этом и донес начальству. Но в кордегардии его встретил инженерный офицер Дуранов, заведовавший Ялуторовским винокуренным заводом. Он задал Устиму несколько вопросов и, убедившись, что тот действительно хорошо

разбирается в винокуренном деле, сказал начальнику тюрьмы:

— Беру.

Устима определили заторщиком. В его обязанности входило чистить квашни — огромные деревянные ящики — от остатков барды. Весь день он, околевая от холода — стояли лютые февральские морозы, — отмывал прилипшее к доскам тесто. От облака пара, постоянно окутывавшего его, — мылись квашни теплой водой, — он покрывался инеем, так что походил на белую пушистую птицу, бьющуюся в огромной деревянной клетке. Заторщиков так и звали:

— Эй ты, полярная сова!

От этой работы Устима трепала лихорадка, и было такое ощущение, как будто постоянно не проходило тяжелое похмелье. Точно так же мучились, а то и умирали от лихорадки многие каторжники на этом винокуренном заводе.

Работал Кармалюк хорошо. Мастер он был на все руки, у товарищей пользовался непререкаемым авторитетом, и начальство поставило его надсмотрщиком.

Этого Кармалюк только и ждал. Получив относительную свободу, он начал готовиться к побегу. Не прошло и трех месяцев, как он «бежал с другими же человеками подобными, но вскоре за сим пойман и отдан в другой завод медный». Беглецов жестоко наказали розгами и разослали туда, где были еще более тяжелые условия каторги.

На медеплавильном заводе, куда попал Устим, каторжники жили в остроге, обнесенном земляным валом и палями — столбами, заостренными вверху. По валу день и ночь расхаживали часовые. Каждое утро барабан поднимал каторжников на работу. Вечером под грохот того же барабана они выстраивались во дворе завода, и их гнали опять в острог. После вечерней поверки казармы запирались, и открыть двери мог только разве пожар да внезапный приезд высшего начальства. Старожилы, мечтая о побеге — а всех неудержимо манило к себе и синее весеннее небо и теплые майские ветры, прилетавшие в острог из родных краев, — говорили:

— Э, отсюда не уйти! Делали попытки те, кому жизнь тут стала так невмоготу, что хоть разгоняйся да в пали головой. Такому человеку хоть на тот свет, лишь бы, дескать, перемена. Ну и никто дальше кордегардии не уходил. Засекали их там мало не до смерти розгами, выдерживали неделю-другую в лазарете и опять на старое место определяли.

— Это не острог, а гроб, — подтверждали со вздохом и другие. — Отсюда нашему брату бессрочнику одна дорога: на тот свет. Вот ежели бы можно было на время умереть, а потом из

могилы вылезть — о, тогда еще погулял бы на волюшке, покуролесил в свое удовольствие…

— А что, братцы, как я слыхивал, бывали случаи, когда людей закапывали, а они оживали и вылезали из могил. Вся деревня с перепуга разбегалась. А почему? Угорел человек, дыхание, значит, потерял, а душа еще не отлетела. Вот ежели бы опиться угару в такую меру, чтобы потом проснуться…

— А кто же тебя на кладбище отроет?

— Да то уж пустая статья: были бы денежки.

— У кого есть денежки, тот, брат, здесь и не сидит.

— Да и то верно.

Кармалюк внимательно слушал все рассказы о побегах, изучал каждую щель в палях острога. Он не верил, что невозможно найти путь к побегу. С завода было еще труднее уйти: весь день, обливаясь потом, он должен был кидать дрова в прожорливую топку печи. На полчаса нельзя отойти, чтобы этого не заметили. Значит, нужно бежать из острога. Но как? Несколько дней Устим ломал голову и нашел путь.

Побег всегда связан с огромными трудностями и с таким же риском. Беглец сознательно идет на смертный приговор, ибо ставит себя под пулю часового. И цифры показывают — их хорошо знали все каторжники, — что из ста побегов удается меньше десяти. Да и тех, кто, преодолев тысячи смертельных опасностей, выбирается в конце концов из Сибири, зачастую ловят уже где-то в родных местах и «за неимением письменного вида» опять гонят в Сибирь, как бродяг. Если не на каторгу, то на вечное поселение.

И далеко не у каждого мечтавшего о свободе хватало смелости решиться на побег. Но все с невольным уважением относились к тем, кто шел на такой риск. Даже гордились ими. Вот, мол, такой же, как и мы, каторжник вечный, а глядите, черти мохнорылые, обвел-то он вас. Ушел. Не удержали ни замки, ни решетки. Уйдем и мы, дайте только срок. И как только нужно было помочь кому-нибудь, отважившемуся на побег, все, кроме отъявленных доносчиков, принимались за дело.

Славу о мужестве Кармалюка, о смелых побегах, о расправах с панами давно уже разнесли его побратимы по Сибири. В каждой тюрьме, в каждом остроге его встречали с особым почтением. Да и сам он, обладая поистине железной силой воли и добрым, незлобивым нравом, быстро располагал к себе сердца людей. Всем нравилось, что он в самые трудные минуты не унывал; что он умел ободрить павшего духом человека; что он, не задумываясь, мог пойти на любой риск ради товарища; что он, берясь за самое трудное дело, своей непоколебимой

уверенностью в победу воодушевлял и других, увлекая их за собой. А перед его суровой правдивостью и кристальной честностью преклонялись все. В остроге бывали кражи, но не было случая, чтобы у Кармалюка что-то пропало. Людей, обворовывающих своего же брата, он терпеть не мог, и они его боялись как огня. А доносчиков там, где он поселялся, окружали таким всеобщим презрением, что они один за другим просили начальство перевести их в другие камеры.

Когда Устим увидел, что в его камере подобрались такие люди, которые не только не выдадут его, а помогут, он начал готовиться к побегу. План был очень прост. Недалеко от тюремных окон шла ограда. Если перепилить решетки — а за ними никто особо не следил, ибо не они, а ограда и часовые держали арестантов, — и связать рубахи арестантов всей камеры, то эта веревка достанет до палей. Привязав камень к одному концу, можно закинуть ее меж остриями палей и выбраться по ней за ограду. А чтобы уйти от часового, шагающего по валу, нужно выбрать ночь поненастнее да потемнее. Но если уж часовой заметит, то пули тогда, пожалуй, не миновать…

На заводе нетрудно было достать пилки. В голенищах сапог Устим принес их в острог и принялся за решетки. Общими усилиями быстро одолели их. Заделали пропилы черным хлебом, затерли ржавчиной и стали ждать ненастной погоды.

И вот с запада надвинулись грозовые тучи. У Кармалюка радостно забилось сердце: гроза, точно с родины, идет вызволять его из неволи. Заполыхали молнии, хлестнул дождь. После отбоя узники улеглись спать, а как только весь острог утих, начали лихорадочно готовиться к побегу. Связывались рубахи и тут же делалась проба: выдержит ли узел. Допиливались до конца прутья решетки.

И вот настала решающая минута. Кармалюк тряхнул решетку, и она, поддаваясь его богатырской силе, начала отворяться, как калитка, слабо потрескивая.

— Готова! — сказал Устим, отогнув решетку. — Теперь подержите меня, а я стану на подоконник и заброшу камень на пали. Да рубашки скрутите так, чтобы не запутались.

— Как бы часовой стука камня не услышал…

— Выжди удара грома…

— Да он и носа не высунет из будки в такую грозу.

— А то черти его знают. Береженого и бог бережет.

— Держите крепче, — приказал Устим, — кидаю.

Устим раскрутил камень и бросил. Связанные рубахи, мелькая, точно испуганные белые птицы, бесшумно понеслись в темноту. Глухо бухнул о пали камень, и рубахи вытянулись в

струну.

— Добре! Теперь натягивайте покрепче и держите. Кто первым бежит, как гласит поговорка, тому первому и пуля. Но Кармалюка никогда это не останавливало. Обняв всех соузников своих, он стал карабкаться по самодельному мосту. Темнота была такая, что хоть глаз выколи. Но вот рубахи ослабли: значит, он ухватился за верхушки палей. А вот и дернул три раза: давай следующий. Но никто не спешил лезть за ним, а все затаив дыхание ждали: грохнет выстрел часового или нет. Прошла минута, вторая, третья… пятая! Выстрел не раздался. Все. Теперь лови ветра в поле. Ну, Устим, счастье еще не отвернулось от тебя. Да будет оно идти рядом с тобой через всю Сибирь до самой Подолии! А там каждый куст — родной дом…

Когда утром открыли камеру, то в ней не было ни одного арестанта. Поднялся страшный переполох. Доложили коменданту, губернатору. Снарядили солдат и казаков в погоню. Почти половину беглецов в первый же день поймали, а остальные скрылись. Но поиски продолжались, и все арестанты острога несколько дней спорили: найдут Кармалюка или нет?

— Все равно далеко не уйдет, — говорили одни.

— Да почему? Ежели он перелетел, словно птица, через пали, то и через всю тайгу перемахнет. Одно слово — Кармалюк. Не построена, брат, еще такая крепость, где бы могли его удержать.

— Да ему, видно, сам черт помогает.

— Погоди, парень, радоваться. Могут еще сцапать. Сибирь, она тоже ведь что твоя тюрьма. И мужик тут такой, что за трешку отца родного в острог вернет.

— А интересно все-таки знать бы: в какую преисподнюю он провалился, что никак не могут на его след набрести?

И вдруг весь острог забурлил — прошел слух, что поймали Кармалюка! Спорили до драки: правда это или неправда? С нетерпением ждали, когда же приведут его. А потом выяснилось, что слух пустой: из какой-то деревни пришло известие, что видели человека, похожего на Кармалюка. Помчались туда казаки, обшарили тайгу на сотни верст, но и следов не нашли. После этого все согласились на одном — теперь Кармалюк ушел. Строили догадки, где он уже, когда домой заявится. Мечтали: «Вырвемся и мы из острога и понесемся в его отряды».

Ноябрь 1825 года был холодный. А в конце месяца совсем легла зима. Устим за это время добрался только до Казани. Здесь у него еще по прошлому побегу были знакомые, и он перепрятывался у них, подрабатывая деньжат на следующий переход. Однажды во всех церквах траурно загудели колокола. Устим спросил у нищих, стоявших у храма:

— Кого отпевают, люди добрые?

— Царь-батюшка умер…

И понеслись новости: царь Александр умер, а Константина паны не пускают на престол. Они боятся, что Константин-де, как записано в духовном завещании покойного царя, даст волю народу и на десять лет уменьшит службу солдатскую. Паны хотят на престол посадить Николая, при котором останется все так, как было. И получается: народ присягает Константину, а паны — Николаю. А многие и вообще, мол, не знают, кому присягать. Растерянность чувствовалась и в Казани.

Во второй половине декабря Кармалюк добрался до Нижнего Новгорода и услышал тут столько новостей, что не знал, чему верить. В Петербурге не только солдаты, но и офицеры отказались присягать Николаю. Требовали на престол Константина. Их хотели силой заставить дать присягу, но они взбунтовались. Новый царь приказал стрелять по ним из пушек. Вся площадь возле дворца была усеяна трупами солдат и народа, пришедшего им на помощь. Реки крови пролились, все крепости и тюрьмы арестованными бунтарями переполнены. Их пытают там и секут немилосердно, на каторгу целыми полками гонят.

Москва встретила Кармалюка колокольным звоном всех церквей. Узнав, что читается новый царский манифест, он тоже зашел послушать. Протискался поближе к амвону, чтобы разобрать все.

— «Божию милостью мы, Николай Первый, император и самодержец всероссийский и прочая, и прочая, — надрывая голос, читал поп, — объявляем всем нашим подданным…»

Поп перекрестился, а за ним и весь народ, перевел дух и продолжал:

— «Печальное происшествие, омрачившее 14-й день сего месяца, день обнародования манифеста о восшествии нашем на престол, известного уже в подробностях из первого о нем объявления. Тогда как все государственные сословия, все чины военные и гражданские, народ и войска единодушно приносили нам присягу верности и в храмах божиих призывали на царствование наше благословение небесное, горсть непокорных дерзнула противостать общей присяге, закону власти, военному порядку и убеждениям. Надлежало употребить силу, чтобы рассеять и образумить сие скопище…»

Далее в манифесте говорилось, что на Украине взбунтовался Черниговский полк. Восставшие освободили даже «закованных каторжных колодников, содержащихся в васильковской городской тюрьме». Но мятежники были окружены у деревни Устимовки и разбиты верными царю войсками, хотя они и защищались изо

всех сил.

«Узок круг этих революционеров, — писал В. И. Ленин о декабристах. — Страшно далеки они от народа». Декабристы, говорил Герцен, боролись за дело народа, но без народа. Их выступление, не поддержанное широкими народными массами, потерпело поражение. А крестьяне сочувственно относились к восставшим солдатам Черниговского полка. Они радостно встречали их, «заботились о них и снабжали их всем в избытке, видя в них не постояльцев а защитников». Они говорили: если бы, мол, черниговцы пришли в Белую Церковь, то они тоже присоединились бы к ним. Но декабристы не намерены были вооружать народ.

Царь Николай I жестоко расправился с руководителями восстания и солдатами.

Именно в то время, когда в Сибирь гнали закованных в кандалы декабристов, Кармалюк подходил к родной Подолии.

Начинать борьбу в таких условиях было невероятно трудно. Но Кармалюк все равно снова берется за оружие.

ПРИКАЗ ВОЙСКАМ

Зібрав собі славних хлопців,
Що ж кому до того?
Засідаем при дорозі
Ждать подорожнього…

В мае 1826 года Кармалюк был в Киеве. «Тут купил пару лошадей на базаре у неизвестного человека» и под видом чумака начал пробираться в родные места. «Ездил по разным местам по найму с людьми, каких мог везде встретить по пути. Бывал у Бердичеве по нескольку раз. Однако пристанища твердого не имел ни у кого, ибо останавливался на базаре».

Товарищи встретили Кармалюка восторженно. Он «проживал попеременно Литинского повета в Луке-Новоконстантиновской, в селении Волковицах скрытно. Днем сидел в льоху, а ночью отлучался».

Первым делом Устим решил отомстить тем, кто в прошлый раз ловил его. И не столько затем, чтобы отплатить за личные обиды, а чтобы люди увидели: он сдержал слово. Пусть это будет наукой и всем тем, кто вновь вздумает ловить его.

И опять в суды посыпались рапорты экономии. Пан Гдовский сообщал 22 ноября, «что Кармалюк с товарищами своими был в селе Комаровцах. Поймать же его не можна было с поводу того, что имел при себе оружие». Это были именно те Комаровцы, где Кармалюка прошлый раз схватили. Паны хорошо помнили, как он обещал вернуться из Сибири и отомстить им. Пан Гдовский умолял суд «принять меры к поимке того разбойника, ибо он имеет опасность». Земский суд предписал заседателю Мегердычу «к поимке одного требовать от воинских команд пособия», ибо: силами инвалидной команды и шляхты с загоном Кармалюка никак не справиться.

Пока суды сочиняют предписания, Кармалюк нападает на пана Станиславского, руководившего в 1822 году облавой на него. Затем на шляхтича Островского, который принимал тогда самое деятельное участие в преследовании его. В рапорте экономии так рассказывается о нападении на Островского:

«Истекшего ноября месяца с 24-го на 25-е число, уже почти днем напали на дом. Старшая дочь Елизавета и сын Викентий спали в другой горнице. Услышали, как он просился у разбойников. Выбили окно, выскочили во двор. Дали знать шляхтичу Новаковскому и крестьянину Коту. Но Кот идти не хотел и сказал: «Я за чужое имение не хочу жизни терять».

Островский, будучи развязан, пошел к эконому Солоницкому с донесением о случившемся. Просил дачи помощи для преследования разбойников. Но он вместо дачи пособий в ответ говорил: «То ничего еще. Тоже будет Мочульскому и Левицкому».

Видя такие насмешки, он побежал прямо к помещице, которая приказала эконому и соцкому тотчас собрать людей. А он вместо того, дабы приняться за преследование, оставил все это без внимания. И еще, не довольствуясь своею насмешкою, говорил: «Ничего, что старого немного поскубли…».

Не полагаясь на помощь суда, Островский кинулся в село Гармаки к князю Соколинскому просить у него защиты. Князь сам давно уже не спал спокойно, боясь нападения Кармалюка, а потому и поехал, не откладывая, в Каменец-Подольск к губернатору.

— Любезный Николай Мартынович, что ж это происходит в вверенной вам губернии? — после обоюдных приветствий спросил князь. — Как это все понимать?

— А что такое, князь? — всполошился губернатор.

— Как — что? Ведь в полный фрунт вернулись времена гайдаматчины! Да, да, не удивляйтесь, Николай Мартынович, истинную правду вам говорю. Кармалюк опять явился из Сибири и разбойничает средь бела дня…

— Да, мне докладывали. — Пан Гдовский поймал бродягу Борщука. На допросе Борщук признался, что состоит в шайке Кармалюка. В суде он, правда, отрекся от сих показаний, испугавшись, надо полагать, гнева своего атамана, но сие не меняет строя дела. Имя Кармалюка стало столь грозным, что даже шляхта боится упоминать его на допросах и следствиях. Мстя за прошлую поимку, Кармалюк разгромил посессора Островского, оный и просил меня ходатайствовать перед вами, Николай Мартынович, о защите.

— Да, да, князь, мы примем меры…

— И надобно это делать, Николай Мартынович, без особых отлагательств. В окрестностях Бара, к примеру, до того усилились шайки разбойников, что почти каждый день делают не только по трактовым корчмам нападения, но даже и в самих селениях. Это уже, простите меня, настоящая гайдаматчина. Так мы досидимся до того, Николай Мартынович, что они всех нас перережут…

— Что вы, князь! — испугался губернатор. — Я немедленно предпишу исправникам употребить все Усилия к поимке разбойников.

— Своими силами исправник ничего не сделает. Это я вам, Николай Мартынович, говорю, как человек, немного разбирающийся в военном деле. Тут нужны войска.

— Да, да, вы правы, князь. Нужно взять солдат, Я сегодня же отнесусь к командующему второй армией. Ах, этот Кармалюк! Тринадцать лет он уже беспокоит нас…

— И заметьте, Николай Мартынович, с каждым новым появлением его в этих местах вокруг него собирается все больше и больше хлопов. Сие знаменательно и весьма опасно. Если его не обезвредить раз и навсегда, то в один прекрасный момент может вся наша губерния вспыхнуть, как стог соломы на ветру. Я бы особо советовал вам, не откладывая, принять самые экстренные меры к поимке его.

— Непременно! Непременно, князь! Я уже имел неприятность от его императорского высочества Константина Павловича за этого Кармалюка. Совсем недавно он опять потребовал сведения о мерах, принятых по поднятому им бунту в крепости. Точных данных я пока не имею, но, надо полагать, цесаревичу кто-то сообщил, что Кармалюк опять объявился.

После встречи губернатора с князем Соколинским в уезды посыпались приказы о поимке «разбойников».

«…я предписываю всем градским и земским полициям… учинить самострожайший секретный розыск по всем жительствам и сомнительным на счет пристанодержательства местам, и если за таковым пойманы они будут, то доставить их за строгим караулом в кандалах в Литинскую градскую полицию…уведомить тот суд и донести мне неукоснительно».

Литинский нижний земский суд, приняв к сведению предписание губернатора, шлет всем экономиям приказ:

«Повсюду учинить строжайшее изыскание к преследованию и поимке преступников. Предпринять все деятельные меры и отныне для сего повсюду учредить из благонадежных людей, под неусыпным наблюдением самых управителей и соцких, денные и ночные караулы».

В ответ на эти вопли о поимке исправники шлют рапорты, в которых заверяют, что по «принятию всех деятельнейших мер к преследованию и поимке появившегося Кармалюка» ничего сделать не смогли, ибо такового не оказалось. Все обещают, что если разбойники появятся, то их схватят и доставят, куда приказано.

Власти полагали — и не без основания, — что в отряд Кармалюка ушли все те, кто освобожден был по амнистии, провозглашенной 22 ноября царским манифестом. Предписывалось повсюду проверить, чем занимаются эти люди, «из чего пропитание имеют, не предпринимают ли отлучки куда и зачем. Не имеют ли сообщения с подозрительными людьми. Так и буде кто из них окажется в подозрении, тотчас взять под караул».

И людей опять хватали по подозрению в том, что они сидели по делу Кармалюка. Перед сотнями людей вставала дилемма: возвращаться вновь в тюрьму или же идти в загоны Кармалюка. И они, прихватив косы, а нередко и панское добро, шли разыскивать своего атамана. Загоны Кармалюка, наводнив всю губернию, превратились в такую силу, что без войск справиться с ними нечего было и думать. Полкам 2-й армии, расположенным в Литинском, Летичевском и Могилевском уездах — а там стояли: Казанский, Вятский и 31-й егерский полки, — дежурный генерал Байков рассылает приказы:

«Давать всякую возможную помощь, по требованию земского начальства, для поимки разбойников».

«Когда один да другой увидел Кармалюка, пригнетенное крестьянство стало собираться вокруг разбойника, давая ему пристанище.

Сельская полиция, видя, что против течения плыть трудно, решилась довольствоваться скромными данями, жертвуемыми ей великодушным разбойником. Она сидела скромно и сама предупреждала его об опасности. Удивительное, право, дело! На глазах у властей, в крае, где не было недостатка в войске и где повсюду жила щеголявшая оружием шляхта, один человек объявляет войну обществу и разбойничает безнаказанно.

Народ преклоняется перед ним и подчиняется ему. Кармалюк умел этим пользоваться и, видя, что много народу идет под его власть, выбрал из массы охотников самых отважных, а именно: Илька Сотничука, Василия Добровольского и Ивана Литвинюка. План нападений составлял сам, а предводителям позволял называться своим именем. Поэтому случалось, что одновременно из трех отдаленных друг от друга пунктов полиция получала донесения о нападениях Кармалюка.

В село Думенку, недалеко от Бара, на четверке прискакал какой-то важный пан, одетый в лисью шубу. На козлах у него лакей и кучер, оба вооружены, что было в обычае, так как все боялись Кармалюка. Крестьяне, жители того села, были очень удивлены, заметивши, что сани остановились перед хатой их односельца Ивана Литвинюка. И пан и слуги, с ним приехавшие, вошли в хату. Кто-то из односельчан, посмелее других, заглянул в окно и, к своему удивлению, увидел, что приехавшие пируют с хозяином.

После короткого совещания десятка два вооруженных шляхтичей окружили усадьбу. Разбойники — а это были они — дали тягу. Один только пан в лисьей шубе не потерял присутствия духа. Схватил ружье, ранил выстрелом первого

приблизившегося, крикнул грозно:

— Я Кармалюк!

Потом прошел спокойно среди изумленных и испуганных шляхтичей, сел в сани и поехал, никем не остановленный.

Разнеслась всюду молва, что знаменитый разбойник находится в окрестностях Бара. По обычаю сделали на ночь облаву, которая ни к чему не привела. Однако ж такое явное насилие среди белого дня, такая отвага принудили местную власть к большей деятельности. Кармалюк понял это и перенес свою деятельность в другие места. Именно в Литинский уезд. Здесь он разгромил пана Фигнера. В январе 1827 года под разбойничьим ножом пали арендари в Гуте, потом в Гришках.

Администрация потеряла голову: смелый разбойник издевался над ней ежеминутно. И вот шляхта снова принимает на себя обязанность схватить Кармалюка. Небогатая местная шляхта, связанная родством и соседством, как это обыкновенно бывает у нашей шляхты, не теряла присутствия духа. Она укрепляла свои дома надлежащим образом, запасалась оружием и стала ждать разбойника, который грозил нападением.

В Кальной-Деражне жил пан Феликс Янчевский, за свою страсть к речам прозванный деражнянским Демосфеном. При всяком удобном случае он готов был выступить с речью: на крестинах, на свадьбах, погребениях, сеймиках. Словом, где только представлялся к тому удобный случай. Служил он сначала в польском войске, потом в русском. Жадный, буйный, он был человеком отсталых понятий. На крестьянина смотрел с точки зрения эконома: считал его хамом и был убежден, что против всякой его неисправности и погрешности простейшее и наиболее соответственное средство — кнуты, кнуты, и ничего более.

Несказанно сердило пана Феликса, что какой-то там мужик приобрел славу грозного разбойника и наводит на всех страх. Грозился он, что поймает разбойника. Кармалюк же, узнав об этом — а он имел везде шпионов, — объявил, что пустит с огнем дом и имущество Янчевского, а самого пана, закоптит в дыму.

И вот началась борьба. Скрытная, упорная, продолжительная. Кармалюк, желая получить самые подробные сведения о своем противнике, часто заглядывал в Кальную-Деражню, главным образом к жившему там шляхтичу Ольшевскому, своему горячему стороннику. Местный арендарь, хорошо знавший Кармалюка, высмотрел, где он останавливается, и тотчас же поспешил к пану Янчевскому с известием, которое и зачел в доплату за дешево купленную у него пшеницу.

Нужно было перетянуть шляхтича на свою сторону. Пан Феликс поспешил зазвать к себе Ольшевского и стал убеждать

его, что как ни преступен он перед законом, но с него снимут обвинение в соучастничестве, если он даст знать о прибытии Кармалюка».[17] Так передают одну из страниц истории Кармалюка его современники, люди враждебно к нему настроенные и тем не менее вынужденные отдать должное его смелости, находчивости, его влиянию в народе.

Не видя никакой возможности поймать Кармалюка, суд решил сделать это «через употребление на то даже денежного вознаграждения». Заседатели обыскивали дома тех, на кого падало подозрение в сочувствии Кармалюку. Унтеры ходили с командами солдат по корчмам и хватали всех, кто попадался под руку. Каждому хотелось поймать Кармалюка и получить вознаграждение. Фельдфебель 6-й мушкетерской роты Казанского полка схватил одного мужика «по неимению письменного вида», привел к командиру роты, браво доложил:

— Ваше благородие, по всем приметам Кармалюк пойман!

— Где? Как? — удивился поручик Лазаревич.

— Лично мной, ваше благородие! В корчме Гдовой! Но он говорит, что не Кармалюк, а Жук. Но мы знаем таких жуков!

— Давай его сюда!

Фельдфебель привел пойманного, и поручик принялся допрашивать:

— Как прозываешься?

— Грыцько Жук, — отвечал тот и, не ожидая вопроса, зачастил: — Сидел два года, ваше благородие, в Литинском остроге. Совсем безвинно. Выпустили по милостивому манифесту. Преступления никакого не сделал, про разбойников ничего не знаю. Про Кармалюка, про какого пытал пан фельдфебель, совсем не знаю.

— Глядите, ваше благородие: точно по уставу чешет! Слово в слово все то, что мне тарабанил. А ведь по роже видно — разбойник. Разбойник, и с самой большой дороги! Я его вмиг раскусил.

— Молчать! — перебил фельдфебеля поручик.

— Слушаюсь! — вытянулся перед начальством фельдфебель, а Жук, глядя на него, тоже опустил руки по швам и испуганно замигал глазами.

— Так ты, значит, не Кармалюк? — снимая пистолет со стены, продолжал допрос поручик. — И даже ничего не слышал про него?

— Ни, ваше благородие! Я Жук…

— Молчать! Да как же ты, протоканалья, ничего не слышал о Кармалюке, когда о нем вся губерния только и говорит? Молчать!

А сидел за что? За разбой! Молчать! — рявкнул опять поручик, видя, что Жук хочет возразить. — За разбой! А под чьим атаманством? Под Кармалюковым! И чему же ты, подлец, научился в остроге! Молчать! Тебя, мерзавец, государь помиловал, а ты опять за свое? Куда ты из острога был отправлен?

— В Нетечинцы Новые.

— Почему не стал там примерно трудиться, а опять ушел шататься? Отец у тебя есть?

— Нема. Он давно уже с земли ушел.

— Значит, и отец, и дед гайдамаки? Весь род? Кто твой помещик?

— Пан Тверовский, ваше благородие.

— Порол он тебя розгами?

— Ой, клято порол, ваше благородие. Потому я и ушел, что никакого терпения мово…

— Молчать! Мало он тебя, каналью, порол! Прогнать бы тебя, мерзавца, сквозь строй в четыре тысячи человек! Ты бы тогда не стал разбойничать с шайкою Кармалюка!

Долго поручик вел допрос в таком «поучительном» плане, а потом приказал фельдфебелю отправить Жука в суд. А суд определил: «Как из собственного его показания видно, что он, не находясь на грунте, скитался по разным местам, то и наводит на себя сомнения — не был ли в шайке Кармалюка. Для того означенного Жука для улики в том, не участвовал ли он в нападении на шляхтича села Комаровец Островского, препроводить по открытому листу з караулом к вашему благородию, так как производится о сем нападении исследование». А исправник не медленно водворил Жука в тот же острог, откуда он совсем недавно был выпущен по манифесту. Логика тут была железная: участвовал ли он в разбое вместе с Кармалюком или нет, пусть сидит под замком — так оно спокойнее будет.

На основании точно таких же «неопровержимых улик» в острогах Литина, Летичева, Могилева, Каменец-Подольска и других городов томились сотни людей. Многие из них не имели действительно никакого отношения к загонам Кармалюка. А те, кто действовал с Кармалюком, ни под какими угрозами не признавались в этом, как и Жук, и властям оставалось только удивляться преданности народа Кармалюку.

Поиски человека, который согласился бы предать Кармалюка, начались среди шляхты. Как только исправник узнал, что шляхтич Ольшевский связан с Кармалюком, он немедленно приказал доставить его в Литин. Выдержав его несколько дней

под самым строгим арестом, исправник принялся за обработку. И шляхетская душонка Ольшевского не выдержала: за то, что его освобождали из-под ареста и обещали не привлекать к суду, он дал письменное обязательство исправнику «не упустить открыть место нахождения Кармалюка с товарищами».

— Тоже за Кармалюка?

— За його, люды добри, — отвечал Грыцько Жук своим соседям по камере.

Не успел Жук осмотреться, как дверь вновь открылась и в камеру втолкнули старого солдата.

— Тоже за Кармалюка?

— За него, братцы, за него…

— А ты, служивый, хоть видел его?

— Видел не видел, то начальству, поди, лучше знать, — шуткой ответил солдат. — А вот как Кармалюк двух панов оставил в дураках — могу рассказать, ежели охота послушать.

— А ты шо, вид самого Кармалюка чув?

— Нет. Но один человек клялся, что был в то время с ним за слугу, а я за что купил, за то и продаю, — хитро щурясь, говорил солдат. — Переоделся Кармалюк однажды, значить, в полную форму полковника. Едет в фаетоне, добрыми конями запряженном. Надулся, важный. Не подходи…

— А это он умеет, — восхищенно подтвердил один из арестантов. — Он, слышал я, и цвенькать по-ихнему может.

— Может! И режет так, точно и родился шляхтичем, — подтвердил солдат. — Так вот подкатил он к панскому двору…

— А як того пана? Не Фигнер?

— Того, что совсем недавно разгромил? Да, может, и к нему, точно сказать не могу, не спросил того человека. Ну, подъехал, видит, экономия большая, дом богатый, можно, значит, поживиться. Послал слугу своего к пану доложить, что полковник, мол, переночевать просится. А то, конечно, не слуга был, а его верный товарищ, наряженный слугой. Пан вышел к самым воротам, просит, кланяется. Заехали. Гость приветливый, всякие небылицы рассказывает. Пан смеется. Сели ужинать, выпили хорошо. Хозяин разошелся и начал все про свои дела выкладывать: сколько у него земли, сколько скота, сколько хлопов. Как люди его боятся, какие он балы закатывает на радость всему панству. Все подчистую рассказал. А потом начал на своего соседа жаловаться: взял, мол, в долг десять тысяч, а возвращать не хочет, «Ах, он лайдак![18] — говорит Кармалюк. — Такого славного человека обманывать! Да если пан позволит, то я сам поеду, возьму у него деньги и привезу». Пан подскочил от радости. Так благодарит, так благодарит. Даже целоваться полез.

Он уже считал, что деньги те пропали.

— Такой черта за грош поцелует…

— Все паны такие. Ну, так вот. Переночевали. Утром полковник взял письмо к тому соседу и поехал. Опять послал слугу своего доложить. Тот пан тоже просит его в дом. Когда поужинали, гость закурил трубку и говорит: «Слушайте, что же вы это своего соседа обижаете? Деньги взяли, а возвращать не хотите. Или вы пошутили? Лучше верните, потому я таких шуток не люблю. Я Кармалюк!..»

— Так и бухнув?

— Так и бухнул! Пан как сидел за столом, так у него язык с перепуга и отнялся. Но когда он все-таки немного пришел в себя, Кармалюк велел принести деньги. Тот принес. А он приказал еще и письмо написать соседу, чтобы тот, значит, извинил его за длительную задержку долга. У пана рука дрожит так, что кляксы из-под пера, как мухи, летят. А ничего, пишет! Он готов был из шкуры вылезть, только бы побыстрее проводить Кармалюка. Ну, а тот забрал деньги и поехал не в лес, где его ждали хлопцы, а к первому пану, как и обещал тому. Это уж у него всегда так: что сказано, то и сделано. Пан как увидел его, полковника значит, то так обрадовался, что не знал, куда и посадить. А Кармалюк говорит: «Погоди, не спеши радоваться. Я ведь тоже хочу что-то иметь на этом деле. Привез я письмо и все деньги. Так давай поделим так: письмо тебе, а деньги мне. Ты, видно, добрый, да глупый: еще кому-нибудь, одолжишь, а назад не получишь. У меня же они не пропадут: панам я одалживать не буду, а бедным так, без возврата, раздам, ведь я Кармалюк. Слышал о таком?». Встал Кармалюк, чинно распрощался и уехал. А пан, говорят, умер с перепуга. Такая вот история…

— Туды йому, дурню, и дорога! — под общий смех ответил Жук. — Як бы всих панив Кармалюк на той свит видправыв, то не сыдилы б мы тут…

— Дай срок — отправит, — заверил солдат. — Паны это и сами чуют, вот и хапают всех, как бешеные собаки…

— Тыхо! Когось ще ведуть.

— О, аж двох…

— Что, братцы, тоже за Кармалюка?

— За його, люды добри…

ВЯЖИТЕ ПАНОВ!.

Гей, селяни, добродії,
Годі спини гнути,
Беріть вила, беріть коси,
Панів бити будем!

Не надеясь на одни угрозы, исправник выдал Ольшевскому авансом вознаграждение за Кармалюка. Расписка на деньги и была пришита к делу как его письменное обязательство. Чтобы не вызвать у односельчан подозрения — об этом могли сообщить Кармалюку, Ольшевский подрядился отвезти дрова в Летичев пану Грабовскому. По дороге в Летичев он заглянул к шляхтичу Витвицкому, с которым близко сошелся в тюрьме, и знал: у него часто бывает Кармалюк. И он действительно застал у Витвицкого и Кармалюка, и Добровольского, и Сотничука. Так как уже на допросе Ольшевский сказал исправнику, что Кармалюк бывает у Витвицкого, то за домом его установили слежку. И Витвицкого не арестовали только потому, что, как пишут в рапорте заседатели Кондратский и Хмелевский, они надеялись поймать «у него сомнительных людей, употребляя к сему всеусиленнейшие средства».

Кармалюку и его товарищам все труднее стало уходить от облав. Возле Старого Майдана они еле выскользнули из кольца, спрятавшись во ржи. Но не успели они выпутаться из этой сети, как угодили во вторую. И когда Ольшевский предложил пересидеть эту непрерывную погоню у себя, Кармалюк согласился. Из Летичева в Кальную-Дерaжню пробирались почти две недели. В лесу возле Старой Гуты они нарвались на посессора Пршестрошельского. Посессор, увидев, что все трое с ружьями и пиками, перепугался, спросил с поклоном, забыв о своем шляхетском гоноре:

— Откуда будете, панове?

— Со всего света! — ответил Кармалюк и приказал: — Иди своей дорогой и язык держи за зубами, а то как бы мы в гости к тебе не нагрянули.

— Я ничего, панове, — испуганно бормотал посессор, — я иду своей дорогой…

Пршестрошельский счел за благо об этой встрече умолчать, ибо догадался, с кем имеет дело. Но на второй же день Кармалюка и Сотничука увидел в лесу подполковник Самойлович. Он тоже спросил, кто они. Кармалюк сказал, что надзиратели лесов. Подполковник, придя в себя от испуга, послал

нарочного к пану Янчевскому. Дераҗнянский Демосфен, «получивший таковые сведения, приказал всем крестьянам и жителям, чтобы они имели осторожность и преследовали проходящих бесписьменновидных людей. А на другую часть того села дал знать эконому Лесневичу, чтобы подобную ж сохранил предосторожность».

И получалось: Кармалюк, спасаясь от облав, шел прямо в западню, приготовленную ему предателем Ольшевским. Янчевский привел в боевую готовность все свои силы. Но не столько затем, чтобы преследовать Кармалюка — он боялся и в лес-то выйти, а чтобы отбить его нападение. Он решил, что Кармалюка уже скрывает Ольшевский, передумав выдавать его.

Одно дело — обещать продавать, а другое — отважиться это сделать. Тогда он дал подписку исправнику, потому что испугался его. А теперь страх перед Кармалюком пересилил страх перед исправником. Пан Янчевский, призвав Ольшевского к себе, принялся грозить ему самыми страшными карами:

— В Сибирь! На каторгу иуду! И в рудник, в самую преисподнюю! О Йезус-Мария! И ты еще шляхтичем называешь себя? Паршивое быдло ты, а не шляхтич!

— Проше, пана… — взмолился перепуганный Ольшевский.

— Пристрелю, як собаку! — заорал Янчевский, схватив пистолет. — Як иуду! Як последнее быдло! О коварные души! О продажные души! — вновь переходя на ораторский тон, продолжал разгневанный Демосфен, — o tempora, o mores![19] И это сыны великой Речи Посполитой! Где же шляхетская гордость ваша?! — кричал пан Янчевский так, точно перед ним был не один перепуганный насмерть Ольшевский, а сотни депутатов сеймика. — Что сказали бы ваши великие предки, если бы встали из своих овеянных славою могил? Да они сожгли бы вас на кострах, как жгли гайдамак! Позор! Вечные проклятия на ваши головы….

Пан Янчевский ораторствовал, потрясая пистолетом, что больше всего и пугало Ольшевского, пока не повалился от усталости в кресло. Ольшевский, вытерев холодную испарину на лбу, начал умолять, чтобы пан дал ему хотя бы три дня сроку. За это время он обязательно заманит Кармалюка к себе в дом и даст пану знать. Янчевскому ничего другого не оставалось, как поверить.

Эта встреча двух сынов Речи Посполитой была 15 июня 1828 года. Ольшевский вернулся домой ни жив, ни мертв. Прошло уже две недели, как он виделся у Витвицкого с Кармалюком, а тот все не появлялся. От одной мысли, что Кармалюк мог узнать об измене, Ольшевского кидало в жар. Он хорошо знал, как сурово

Кармалюк карал предателей, и проклинал тот день, когда взял деньги у исправника. Он начал подумывать о том, что нужно удрать и от исправника и от Кармалюка, пока еще не поздно. Но исправник, предупрежденный, видимо, Янчевским, послал к нему заседателя Хмелевского, уж несколько месяцев рыскавшего по этим местам с солдатами. Заседатель предупредил:

— Не вздумай только улизнуть к Кармалюку. Да, да, нам все известно. И если выйдешь хоть за околицу села, тебя схватят. Тогда не жди пощады…

И Ольшевский, устроив ловушку для Кармалюка, сам сидел в своей хате, как в камере тюрьмы. Он боялся выйти лишний раз во двор, опасаясь, как бы это не сочли за попытку к побегу. Ему казалось, что изо всех хат следят за ним расставленные Янчевским люди.

16 июня Кармалюк, Добровольский и Сотничук, миновав все опасности, добрались до Кальной-Деражни. Здесь они планировали немного отдохнуть у Ольшевского и двинуться к Бару, где были основные силы загона. Оставив Добровольского и Сотничука в засаде, Кармалюк сам пошел к хате Ольшевского. Выждал немного, прислушиваясь, тихо постучал в окно. В то же мгновение увидел испуганное лицо Ольшевского. Он невольно по выработавшейся годами привычке к осторожности отступил от окна: вдруг, мол, засада. Ольшевский долго молчал, потом глухо, с трудом сдерживая дрожь в голосе, спросил:

— Хто? Хто там есть? — повторил он, немного выждав.

«Трус», — подумал Кармалюк и, шагнув к окну, спросил:

— Ты один в хате?

— О-о… Один…

— Выходи! — строго приказал Кармалюк.

— Сейчас, батьку… Сейчас… — дрожащим голосом бормотал Ольшевский, а сам думал: «Пропал, Узнал и пришел отомстить».

— Что ты там возишься? — нетерпеливо спросил Кармалюк, которому все более подозрительным казалось поведение Ольшевского. — В своей хате заблудился?

— Иду… Иду… — говорил Ольшевский, шаря по двери в поисках задвижки. Наконец открыл дверь, сказал с поклоном, пряча глаза от пристального взгляда Кармалюка: — Слава Исусу!

— Вовеки слава! — сдержанно отвечал Кармалюк.

— Вы, батьку, одни?

— Илько и Васыль тут.

— Так заходите, заходите. Я дни и ночи выглядываю да прислушиваюсь, — овладев с приступом страха, залебезил Ольшевский. — Думал, совсем не заглянете. А где ж Илько и Васыль?

— Под плотом.

— Проходите в хату, а я их позову.

— Я тут побуду, — усаживаясь на сруб колодца, сказал Кармалюк. — Свистни три раза, они и придут…

Ольшевский не знал, куда посадить гостей, чем потчевать. Поставил на стол водки; жена собрала закуску, и все сели ужинать. Сначала Устим внимательно присматривался к Ольшевскому, улавливая в его движениях, в тоне голоса, в бегающих глазках что-то, что рождало чувство настороженности. Но когда Ольшевский сказал, что ночевать поведет к отцу, так как у того будет безопаснее, Устим решил, что он боится одного: как бы их не поймали у него. Оттого и трясется, как осиновый лист.

— Вы пейте и закусывайте, а я до батька побегу, — сказал Ольшевский, вставая из-за стола. — Надо его предупредить…

— Недолго только там! — наказал Кармалюк. — Мы уже сколько ночей не спали, с ног валимся…

— Я мигам!..

— Батьку, — сказал Илько, когда ушел Ольшевский, — а не здаеться тоби, що вин якыйсь такый…

Кармалюк поморщился, махнул рукой.

— Трус! Та и все шляхтичи только на словах храбрые, а до дела дойдет — хуже баб. Я их добре знаю.

И всегда держу пистоли заряженными, когда с ними дело имею…

Когда Ольшевский сказал отцу, кого приведет к нему ночевать, тот испуганно замахал руками.

— Йезус-Мария, да ты с ума спятил!

— Отец, послушайте…

— И до хаты не подводи! Мало того, что сам из острога не выходишь, так и меня туда хочешь загнать. Да я сейчас же подниму гвалт…

— Да замолчите вы! — рассердился Антоний. — И поймите: коль скоро вы не возьмете их, то сделаете себя несчастным! Я обязался господину исправнику, что заманю Кармалюка к себе и дам ему знать. Поняли? Только глядите: это страшный секрет. Я сейчас приведу их к вам. Я тоже буду спать с ними, чтобы у них не было никакого подозрения. А вы пойдете к посессору Домбровскому и дадите ему знать…

— Йезус-Мария…

— Перестаньте ныть! Я еще не все сказал. Скажите посессору, что у Кармалюка есть ружье. И заряженное. Но я, когда они уснут, смажу салом пановку и курок, чтобы Кармалюк не мог выстрелить. Так что пусть не опасаются смертоубийства и смело подступают. Ну, я пошел за ними, а то Кармалюк уже и так что-то

косо поглядывает на меня.

Как только все уснули, старик Ольшевский — а он лег в другой половине хаты, — взяв сапоги, прошмыгнул босиком через сени, обулся за углом сарая и огородами побежал к дому посессора Домбровского. Посессор уже спал, закрывшись на все замки, и к нему было не так-то легко достучаться. Наконец посессор, убедившись, что Игнатий Ольшевский один, открыл дверь.

— Пан Домбровский, у меня Кармалюк, — не успев переступить порог, выпалил Игнатий Ольшевский, — а с ним еще два разбойника!

— Так что же вы? — испуганно попятился от него посессор. — Так куда же вы? Так зачем же вы ко мне?

— Сын послал вас известить. Они спят у меня…

— А-а… А, вот что, — облегченно вздохнул посессор. — Так бегите к эконому Лесневичу. И скажите ему, чтобы немедленно прибыл ко мне. Неукоснительно! И от него идите домой, дабы ваша отлучка не подала поводу им к побегу…

Лесневич, узнав, в чем дело, помчался к Янчевскому. А тот поднял всю дворню на ноги. Погнал эконома с дворней в село собирать мужиков. Мужиков хватали, где кого попало, и в шею гнали к панскому двору. Когда было собрано человек около тридцати, Янчевский, не объясняя, куда их ведет и зачем, приказал:

— Всем следовать за мной!

Устим сквозь сон услышал стук топора, приподнялся, глянул в окно. Старик Ольшевский рубил возле сарая дрова. Заря только занималась. Рано поднялся. Боится или же решил на часах постоять, чтобы предупредить об опасности. Ишь, как озирается по сторонам! Ну и трусы эти Ольшевские! Противно смотреть, как они дрожат. По одному их перепугу все могут заметить, что тут что-то неладно. Нужно уходить отсюда.

Все эти мысли смутно мелькали в голове Устима, он не заметил, как опять уснул. Разбудил его странный топот вокруг хаты. Он настороженно приподнялся и в ту же минуту увидел: возле хаты полно народу. Отдаются шепотом какие-то команды. Что такое? Неужели облава? Не успел Кармалюк сообразить, что происходит, как в хату, осторожно приоткрыв дверь, — почему же она оказалась не запертой? — ввалился пан Янчевский. Устим схватил ружье, крикнул:

— Хлопцы, огню!

Сотничук и Добровольский, услышав этот боевой клич атамана, вмиг вскочили и ринулись на Янчевского. Кармалюк

хотел разрядить в ненавистного врага ружье, но оно не выстрелило. Он глянул на курок и увидел, что пановка смазана салом. Понял: измена. В ту же минуту Антоний Ольшевский, шмыгнув за спину пана Янчевского, выскочил из хаты.

— Хлопцы, зрада! На смерть бый их!

Началась свалка. Храбрый Янчевский «кричал сильно на людей, чтобы прибыли рятовать его, но они с перепуга или по другой причине медленно спешили в горницу». А точнее сказать: «только один крестьянин поспешил на помощь». Но и тот «поспешил» так: ляхтичи Качковский и Малышевский схватили мужика этого и, награждая подзатыльниками, втолкнули в хату, откуда неслись отчаянные вопли дережанского Демосфена:

— Гвалт!.. Рятуйте!..

Видя, что крестьян в хату не загонишь никакой силой, Качковский, Малышевский, Лесневич и Домбровский кинулись на помощь Янчевскому, За ними пошел еще кое-кто из дворни. Силы были неравные. Кармалюка и его товарищей, отчаянно сопротивлявшихся, смяли и связали веревками.

— Крепче! Крепче вяжите их! — кричал пан Янчевский, придерживая свою перебитую руку. — Эй, кто там! Веревок!

Когда Кармалюка, овитого веревками, вывели из хаты, он, оттолкнув плечом тащивших его, крикнул:

— Люды добри, що же вы стоите и дывытесь, як паны вяжуть нас? Вяжить их! Годи вам покирно тягты ярмо панщины! Годи вам буты панским скотом! Вяжить! Быйте их!

Мужики никогда не слышали, чтобы кто-то отваживался при панах говорить такое. Янчевский испуганно закричал:

— Быстрее на телегу его! И в кузницу! Заклепать в ножные и ручные кандалы! А нарочного послать к исправнику, пусть солдат сюда гонит. Да покрепче, покрепче к возу прикручивайте! Вот этой веревкой!

— Будьте ж свидками, люды добри, — продолжал Кармалюк. — Я выйду ще на волю! Я вбую ще оцых панив в червони чоботы!

— Да заткните ему глотку! — заорал Янчевский. — А вы что стоите, разинув рты? — накинулся он на мужиков. — Когда я на помощь звал, так вас не было, а сейчас все сошлись. Раз-зойдись!

— Бачите, люды добри, як ваш хоробрый пан перелякався! — крикнул Кармалюк. — Так вяжить же його!

— Гони! Гони к кузнице! — орал Янчевский.

— Гострить ножи и косы, — продолжал Кармалюк. — Я вернусь. Мене, як бачите, не удержалы ни тюрьмы, ни Сыбир! И не удержуть, доки буде бытыся мое сердце!

Пока кузнецы трудились над кандалами, Янчевский пытался

допрашивать Кармалюка. Но он или совсем не отвечал на вопросы, или говорил такое, что Янчевский задыхался от бешенства. При обыске у Кармалюка не нашли ни гроша денег, и Янчевский, размахивая кулаками у него перед носом, требовал:

— Говори, гультяй, куда спрятал награбленное добро!

— Роздал тем, кого вы ограбили! И буду забирать у вас, и буду раздавать бедным людям! И если сегодня люди отказались меня вязать, то завтра они вас, собак, свяжут! Свяжут потому, что знают: Кармалюк хочет им добра! Мои хлопци не обидели и никогда не обидят ни одного бедного человека. А вам, собаки, будет то, что было другим панам! И я сто раз приду из Сибири, но изведу, выжгу вас всех! Так и передайте своим панам! Не добили вас Гонта да Железняк, так я добью!

— А, проклятый гайдамак! — в бессильной злобе орал Янчевский. — Хлоп! Быдло подлое! Да как ты смеешь грозить мне!

— А ты будто и не боишься? — с улыбкой спросил Кармалюк. — Но если ты такой храбрый, то зачем же в кандалы заковываешь меня? Зачем веревками опутал? Зачем стражей окружил? Зачем за решетку побыстрее хочешь упрятать? В Сибирь угнать? Да затем, что ты, собака, как огня боишься меня! Боишься потому, что знаешь: в лесах, в селах, на хуторах, в корчмах — всюду полно моих хлопцев! И они на смерть пойдут за мной! Они на смерть пойдут за волю!

— Да как ты смеешь, быдло, мне тыкать?

— Простите, ясновельможный пане, — с издевкой сказал Кармалюк. — Я совсем забыл, что еще не порол вас. Но не очень огорчайтесь: я выпорю вас! И получше, чем Опаловского, который, как слышал я, уже отдал богу душу…

От такой неслыханной дерзости Кармалюка деражнянский Демосфен лишился дара речи и, дабы не выставлять себя на общее посмеяние, счел за благо прекратить допрос. Кандалы были изготовлены только к вечеру. Янчевский сам осматривал кольца и цепи. Надежно ли сделаны? На одном кольце он нашел трещину и принялся бить им по голове кузнеца, вымещая на нем зло свое.

— Ты тоже, гультяй, из его шайки! — кричал он. — Да я тебя самого, пся крев, в кандалы прикажу заклепать! Я тебя самого в Сибирь погоню! Заново! Все заново сделать! И живо! А то специально весь день возитесь, подлые хлопы, чтобы дотянуть до ночи. Да если вы мне сейчас же не закончите, тут вот, в кузнице, прикажу запороть до смерти!

— Не запорете, ясновельможный пане, — с улыбкой заметил Кармалюк, наблюдая, как кузнецы надевают на него кандалы. — Не запорете потому, что вы ведь и кандалов делать не умеете. И

если вот Никифор не захочет на меня кандалы делать, то где вы их возьмете? А придет время — и скоро придет! — он не меня, а тебя закует в железо! Всех вас закуем в железо! И на веки вечные!

Не выдержав, пан Янчевский кинулся к Устиму с кулаками.

— Отойди, ясновельможный пане! — спокойно, но с таким гневом сказал Кармалюк, что Янчевский попятился от него. — И подальше отступись. Кандалы не веревки. И если я их примерю к тебе, то боюсь, что они треснут, и придется опять все заново делать.

Наконец заковали всех троих. Из Летичева прибыло пятьдесят солдат под командой офицера, примчались исправник и заседатели суда. Мужиков Янчевский разогнал по домам, чтобы не слушали крамольных речей Кармалюка, пообещав, что все будут как соучастники представлены в суд за то, что не пришли на помощь, когда его били разбойники. Несмотря на то, что было пятьдесят солдат, офицер ночью не решился конвоировать Кармалюка в Летичев. А утром, чуть только рассвело, Кармалюка, Добровольского и Сотничука приковали цепями к телеге и только после того двинулись в путь. Все село вывалило из хат — хотя это было строго запрещено Янчевским — провожать Кармалюка. Кармалюк привстал на телеге, насколько позволяла цепь, поклонился народу, сказал:

— Спасыби, люди добри, що не сталы помогаты панам! А я в долгу перед вами не останусь! А покы що прощавайте и не помынайте лыхом. И не тужить: вам недовго доведеться ждаты мене!

Начались аресты и допросы. Кармалюк, верный своему правилу, никого не выдавал и признавал только то, что было уже неопровержимо доказано. Сотничук и Добровольский тоже твердили, что они случайно встретили человека, который назвался Кульчицким, но Кармалюк ли то был — не знают, ибо никогда его не видели. Встретились, мол, в лесу, зашли переночевать к Ольшевскому — вот и все дело. И если перед народом Кармалюк говорил, кто он, и призывал людей вязать панов, то судьям он не давал такого козыря в руки. Он опять повторял, что родился в Австрии, что был сослан в Сибирь по недоказанному обвинению и бежал оттуда. Он хорошо знал: одно дело — сказанное слово народу, а другое — записанное в протокол, который будет представлен суду. Тут он был предельно осторожен. Никакие угрозы, никакие увещевания священников давать показания «по самой справедливости» не могли заставить его говорить то, чего он не хотел сказать.

Из свидетелей тоже удавалось выколотить только то, от чего

они никак не могли отказаться.

«1827 года июня 23 дня, призванные в присутствии члена Литинского земского суда крестьяне Кальной-Деражни спрашиваны были, почему при поимке Кармалюка и прочих с ним соучастников за первым знаком, данным помещиком Янчевским, тотчас не вскочили в избу…»

На этот вопрос никто вразумительного ответа не дал. Харитон Романюк, которому было уже семьдесят лет, показал:

«Очень рано, в пятницу, гнал скот в поле. На дороге повстречал его соцкий, сказывая, дабы он шел во двор, как между тем люди направили его к хате Ольшевского. Когда пришли туда, то узнали, что в той хате находятся разбойники, между коими есть Кармалюк.

Когда вязали тех разбойников, то Кармалюк сказал: «Почему вы не вяжете их, помещиков то есть, за то, что вас притесняют!»

Грыць Васильев показал:

«После того расспрашивал пан Янчевский, где же вещи и деньги, что они награбили? И на сие Кармалюк отвечал, что вещей никаких нет, а имел семь рублей серебром, то и те отдал какому-то повстреченному им бедному человеку».

Посессор Пршестрошельский донес суду, что жена Андрея Барского, который был уже арестован как соучастник Кармалюка, говорила, «якобы она знает более об участниках Кармалюка». Но когда ее призвали в суд, то она сказала, что «поясненных слов не говорила и ни о каких соучастниках не ведает. Случилось же таким образом, что когда сотский пришел брать у нее волов для отвоза Василия Кривенького в город Летичев, то она, с сожаления, как таковые у нее часто берут, говорила: «Хотят ее волами из целого селения людей всех вывезть». А более ничего не говорила и ни о чем неизвестна».

Но как все ни упорствовали, волы, поскрипывая ярмами, продолжали везти хозяев своих в остроги и тюрьмы, переселяя туда целые села. Из судов сыпались новые и новые приказы: разыскать, арестовать, незамедлительно представить, заклепав в кандалы, и волы, вместо того чтобы возить хлеб с созревших полей для прокорма семей, отвозили кормильцев этих семей под царские замки.

«Известный разбойник Кармалюк настояще о сотоварищах своих не открывает. Однако по расспросам сторонним видно, что было несколько и они удалились к Днестру. А потому приказали: по смежности поветов Литинского, Могилевского, Ушицкого, Каменецкого, Проскуровского сообщить в тамошние нижние земские суды, чтобы благоволили употребить меры к разысканию и поимке».

И посыпались рапорты из этих судов в Летичевский суд:

«Замешанный в деле важного преступника Кармалюка, проживавший в местечке Снитовке шляхтич Глембовский неизвестно где ныне находится. Поэтому предписывается всем управляющим экономиями к отысканию оного учинить самострожайшее разыскание. И, буде отыщется, заклепав оного в ножные и ручные кандалы, доставить в сей суд».

«Всходно указав из оного суда, — пишет в рапорте заседатель Кондратский, — я отправился в селение Каричинцы-Римовские для отыскания и доставления Матвея Свитового, который нужен по делу о преступнике Кармалюке. Но такового крестьянина тамо не застал. Да и где он теперь укрывается, присяжным разысканием, которого у сего подношу, не открыто».

«Взяв крестьянина Старой Гуты Романа Музыку под стражу, — рапортует заседатель Хмелевский, — прикосновенного к делу Кармалюка, при сем в нижний суд за караулом препровождаю».

«Летичевский нижний земский суд секретным отношением требует отыскать в цымбаловецкой корчме арендаря, по имени и прозванию неизвестного, доставить по заклепании в ножные и ручные кандалы в оный суд».

«Препровождающего при сем за караулом Арона Клебанского, в первой арестантской станции по тракту, лежащему к городу Литину, приняв и нарядив к нему благонадежное число провожатых, отправить и далее таковым же образом, сдав с рук на руки за расписками, смотря притом, чтобы он с пути или с ночлегов побегу учинить не мог. По приводе же в город Литин сдать в тамошний поветовый суд, в который о нем и сообщение по почте послано».

«Препровождаемого при сем мальчика Кондрата Шевчука по делу преступника Кармалюка, приняв и нарядив к нему благонадежное число провожатых, сдавать с рук на руки за расписками, смотря притом, чтобы он с пути или с ночлегов побега учинить не мог. По приводе в город Летичев отдать его в тамошний суд, в который о нем и сообщение по почте послано быть имеет.

Дан сей открытый лист из Барской градской полиции за подписом и печатью».

Этому мальчику Шевчуку, служившему у мещанина Василия Маниты только за то, что «жена оного лечила его от болезни», было всего 10 лет. Знал ли он что-либо о Кармалюке? Видел ли, как тот приходил к его хозяину, так и осталось для властей тайной. На следствии он заявил: «Будучи всегда нездоровым, не примечал, с кем какое обращение хозяин имел. Сторонних людей

в доме не видел. И ничего не знаю более».

Скрипели писаря перьями, а на тот скрип тяжким бряцанием отзывались кандалы по всей Подолии…

ОСАДА В КАМЕРЕ

Шумить, гуде ліс грабовий,
Аж до землі гнеться.
Краще жити буде тоді,
Як Кармель вернеться…

Прошло лето, осень; волов запрягали уже не в чумацкие возы, а в сани, но делали они одно и то же: все везли и везли в остроги закованных в кандалы товарищей Кармалюка. Наместник царства Польского цесаревич Константин Павлович повелел подавать ему еженедельно рапорты о ходе дела Кармалюка. Шутить с ним было опасно, и судьи старались изо всех сил. Но дело двигалось медленно, ибо разрасталось и разрасталось, охватывая всю губернию.

Из Летичева Кармалюк и его товарищи были переведены в начале декабря 1827 года в Литинский тюремный замок. Конвоировала их целая рота пехоты. Здесь вновь начались допросы, очные ставки. Делу не видно было конца. Губернатор Грохольский пригласил к себе пана Родзеловского — литинского, земского судью, недовольно спросил:

— Что у вас там делается? Почему до сих пор не решено дело Кармалюка и его сообщников? С меня каждую неделю требуют рапортов о ходе этого дела, а я уже не знаю, что отвечать его императорскому высочеству.

— Ваше сиятельство, полиция и суд выказывают всю энергию свою, но дело приобрело поистине грандиозные размеры. Ведь вот, извольте поглядеть, ваше сиятельство: одних только соучастников Кармалюка уже выявлено двести пятьдесят человек. Да посредников более полутысячи. Свидетелей уже допрошено около тысячи человек. Вот и судите, ваше сиятельство, какая работа проделана. Но с каждым днем открываются все новые и новые нити, которыми этот разбойник был связан почти со всей губернией. Его гайдамацкие шайки, ваше сиятельство, говорю это без малейшего преувеличения, как холера, поразили весь наш край. И великое счастье, что нам удалось Кармалюка вовремя обезвредить, а то я не могу даже представить себе, чем могло бы кончиться дело, если бы он погулял на воле год или два. Он мог поднять хлопов на такую же кровавую резню, как это сделали Железняк и Гонта. Поверьте мне, ваше сиятельство, я нисколько не преувеличиваю. Это заключение мое сделано на основании дела…

Только уехал судья пан Родзеловский, заверив губернатора,

что дело быстро двинется вперед, как из Литина прилетела тревожная весть: Кармалюк поднял бунт в тюрьме.

Весть эта вызвала сильный переполох. Особенное беспокойство губернатор проявлял из-за отсутствия каких-либо точных сведений об обстоятельствах возмущения.

Возникло опасение, что Кармалюк мог опять убежать. Но вот, наконец, пришел рапорт.

«Господину подольскому гражданскому губернатору
Литинской градской полиции
РАПОРТ

Важный преступник Кармалюк, содержащийся здесь… в оковах тех самых, в каковых препровожден из города Летичева, вздумал и домогался настоятельно, чтобы с содержащейся по одному делу с ним… Добровольской дозволить беспрепятственное свидание, но когда сего ему не было позволено, то он, воспользовавшись случаем, зашел в ее комнату. Таковое дало повод перевести Добровольскую в этапный дом.

За сим вскорости Кармалюк объявил себя дерзким и отважным на зло… и хотя тут внушаемо и., отвращаемо было убедительными средствами о прекращении его покушений, но сие осталось тщетным. Дерзость его со смелостью до той степени увеличилась, что он похвалялся убить, кто попадется, а взять не дастся. И, наконец, злобствуясь, сбил с себя оковы и приглашал прочих арестантов к возмущению. Но от сих пособием не воспользовался, кроме от двух: Добровольского и Сотпичука, кои ему сотовариществовали в покушении. И из оных сбил кандалы, поотрывал скобли от прочих комнат, дабы мог по комнатам беспечно ходить. А от цейхгауза оторвал замок и некоторые вещи занес в комнату с намерением сжечь…

Наконец с двумя упомянутыми сотоварищами заперся в комнате, где приготовили кирпич с груб[20] вынутый и доски… для защищения на случай взятия его. А для запаса к пропитанию поотбирал хлеб от прочих арестантов, кои ему со страха принуждены повиноваться.

Во время запертия в комнате, случившегося на третий день его покушения, то есть 11-го числа, все арестанты с тюрьмы по распоряжению выгнаны. И был он в оной комнате… окружен и здесь по предпринятым разным средствам заставлен к повиновению…

Засим Кармалюк вышел с комнаты и по-прежнему с сотоварищами закован в кандалы. А дабы он, Кармалюк, от похвалок удержался и не возмущал прочих арестантов, а равно не мог учинить побега, подобно как сделал с каменецкого замка, полиция решилась до разрешения начальства содержать его на

цепи, хотя таковые воспрещены, по уважению, что другого средства не предвидит. О чем вашему сиятельству сие полиция имеет честь представить…

Декабря 14 дня 1827 года».

— Слава богу, хоть не ушел, — прочитав рапорт, облегченно вздохнул граф Грохольский. — А какая смелость! Какая неслыханная дерзость! Не диво, что его боятся на воле, если он и в тюрьме всех напугал! Как тут пишут? «Сбил с себя оковы». Вот после этого и не верьте, что он рвет веревки, как паутину. Жаль, что такая сила приносится во вред, а не в пользу отечеству.

Даже лютые враги Кармалюка не могли не отметить незаурядность его личности, хотя и трудно им было представить, как мог простой крепостной, к тому же неграмотный, приобрести такую силу и влияние в народе, такую славу.

Да, с Кармалюком надо скорее кончать, и поветовому стряпчему было послано напоминание, а он написал Литинскому нижнему земскому суду:

«Побуждаясь важностью преступления содержащихся под стражею арестантов — Кармалюка и прочих его сотоварищей, о коих дело стоит под рассмотрением оного суда, долгом считаю в оной суд войти с сим моим настоятельным требованием, чтобы приняты были всеусиленные средства, из-за коих бы показанное дело не могло подвергаться ни малейшей в течении своем медлительности и было бы решено в самой скорости».

29 февраля 1828 года Литинский суд огласил приговор:

«Кармалюка за побег с каторжной работы и делания грабительства наказать вновь сто одним ударом кнута, сослать под строгим караулом в каторжную работу», Такую же меру наказания определили и его ближайшим товарищам: Сотничуку, Литвинюку и Добровольскому. На вечное поселение в Сибирь были приговорены Витвицкий, Барский, Вишниовский, Яновский. По списку, утвержденному и цесаревичем и царем, был сдан в солдаты сто восемьдесят один человек, привлеченный к этому делу. Около трехсот мужчин и женщин наказали кнутами, плетьми и розгами.

Предатель Антоний Ольшевский, как обещали ему, от наказания был освобожден и отдан под надзор экономии и общества. «Помещика селения Кальной-Деражни Феликса Янчевского, который… схватил Кармалюка, …признать заслуживающим награждения, а людей за невоспомоществование тому же Янчевскому к скорейшей поимке и повязанию разбойников… наказать, в пример другим при земской полиции всякого по 25 ударов плетьми».

И опять Кармалюка везут в Каменец. Сто один удар кнутами он перенес без стона и без посторонней помощи вернулся в тюрьму.

В августе всех погнали в Сибирь. Кармалюк отправлялся в этот путь третий раз.

Села обезлюдели, как пишет современник, хаты опустели.

А сколько вдов и сирот осталось помирать с голоду в тех опустевших селах, сколько «вечных поселенцев» погибло в пути, не дойдя до места, одному богу ведомо…

После того как Мария была приговорена к пятидесяти розгам и месяцу ареста, Устим домой не заходил. И встреча с семьей и помощь — все могло только повредить ей. Он не появлялся дома еще и потому, что борьба приобретала все больший размах: загоны его после второго побега из Сибири перешагнули границы Литинского уезда и действовали по всей Подолии. И как ему ни хотелось увидеть сыновей, он, находясь все время в напряжении борьбы, не мог пожить, как это бывало раньше, месяц или два где-то в окрестностях Головчинцев и навещать семью. Он расспрашивал земляков о доме, встречая их на ярмарках и чумацких шляхах. Но вести были невеселые: Мария после острога и розог не могла оправиться от болезни.

— Отдасть, мабуть, вона богу душу, — со вздохом говорили односельчане. — А сыны ничого. Ростуть. Иван женывся. И добру дивчыну взяв.

Мария и сыновья тоже все знали о нем от людей. Да и полиция то и дело напоминала им о нем, налетая на дом с обысками. Устим знал об этих постоянных обысках, а потому ничего и не передавал домой: все равно ведь заберут. Да еще и накажут Марию. Но он не знал, что, несмотря на все эти предосторожности, над семьей его нависла страшная беда.

Летичевский почт-экспедитор Андриевский уже семь лет писал во все инстанции, требуя, чтобы ему вернули 39 рублей 62 копейки, которые он употребил на отсылку пакета с сообщением о появлении Кармалюка. За семь лет этот верный царский слуга больше истратил денег на гербовую бумагу, но упорно продолжал требовать долг. А потратил он эти деньги с перепуга и попусту, отправив донесение советника Кельхнера «по предмету о появившихся было разбойниках», которых к тому времени, когда донесение доползло до Каменец-Подольска, и след простыл.

Обойдя все инстанции, Андриевский настрочил «всенижайшее прошение» самому цесаревичу Константину Павловичу. За 39 рублей 62 копейки он не считал позорным для себя, титулярного советника, обращаться к самому цесаревичу с

унизительным прошением. Ход его рассуждений был по-чиновничьи мудр: я, мол, проявил патриотизм, истратив на дело поимки разбойников свои деньги, а мне их не возвращают. А по законам обязаны вернуть: почт-экспедитор хранил пожелтевшие от времени расписки.

Наместник царства Польского прислал грозное повеление: немедленно установить, кто должен вернуть деньги почт-экспедитору Андриевскому. Губернатор потребовал от суда, чтобы он «учинил по сему предмету постановление», и получил уведомление: так как с Кармалюка, снова сосланного в каторжную работу взять нечего, то «продать с публичного торга все найденное у жены Кармалюка имущество» и вырученные деньги вернуть почт-экспедитору.

Чиновники Литинского суда нагрянули в Головчинцы и продали все имущество Марии до последней тряпки. И наторговали они, не оставив ей ни горшков, ни ухватов, всего 11 рублей 90 копеек. О чем тут же было всенижайше и донесено его императорскому высочеству. Наместник царства Польского остался доволен: повеление его было исполнено. Без угрызения совести и титулярный советник Андриевский положил в карман 11 рублей 90 копеек. А Мария с детьми замерзала — это было в декабре 1828 года — в пустой хате. Старший сын Иван успокаивал ее:

— Ничого, мамо, ще нажывемо…

— Наживете та вже, мабуть, без мене. Чуе мое сердце: недовго осталось мени мучытыся…

И это предчувствие не обмануло ее…

ТРЕТИЙ ПОБЕГ ИЗ СИБИРИ

Повернувся я з Сибіру,
Та не маю долі,
Хоч, здається, не в кайданах,
А все ж не на волі…

Осенью 1828 года Кармалюка погнали в Тобольск. Прибыл он туда на этот раз сравнительно быстро: в январе следующего года. И тут же был направлен на Боровлянский стекольный завод. А через пять месяцев в графе алфавита о каторжных против фамилии Кармалюка появилась запись: «Убежал 26 мая 1829 года». Как он ушел из острога — осталось для всех тайной.

По тюрьмам Сибири да и всей России, как свидетельствовал петрашевец Д.Д. Ахшарумов, «распространены были рассказы о знаменитом скитальце Кармалюке. В херсонском остроге все знали его имя. Сложились многочисленные рассказы о его побегах из тюрем и при шествии по этапам. О его влиянии на арестантов. Он всюду являлся руководителем толпы. Большая партия бежавших вместе с ним, преследуемая погоней, имела выбор двух путей — тропинка, ведущая в лес, и большая дорога. Кармалюк избрал последний путь и звал всех последовать за ним. Но большая часть пошла тропинкой в лес. Все последние были пойманы. Те же, что пошли большой дорогой за Кармалюком, счастливо спаслись, достигнув скоро по пути лучшего убежища». [21]

— Ведут это его, братцы, под конвоем чуть ли не целого полка, — рассказывает земляк Кармалюк своим соузникам. — Навстречу едет пан в карете Важный такой, чуть ли не генерал. Спрашивает: кого, мол, ведете? Офицер конвойный навытяжку перед ним: так, мол, и так, ваше превосходительство, самого что ни на есть опасного разбойника Кармалюка. «Молодцы, — говорит пан, — что поймали. За это вас сам царь наградит». И начал крестить Кармалюка! И злодей ты, и гайдамака, и четвертовать тебя, мол, разбойника, мало! А Кармалюк ему и отвечает: лежачего, мол, бить, ваше превосходительство, дело не мудрое. А вы бы лучше грош или два дали бы на пропитание. Пану понравился, видно, кающийся голос Кармалюка — а он умел, братцы, представляться! — пан и говорит: «Пустите его, пусть возьме милостыню». Только Кармалюк подошел к дверце, а пан его — хап в карету! Дверцы хлоп, кучер кнутом по коням — и только пыль столбом поднялась. Конвойные смотрят оторопело: что, мол, за чудо стряслось? Пока пришли в себя, пока начали

стрелять — эге, и грохота колес уже не слышно.

— Так, значит, то его хлопцы были?

— А то кто же? Они!

— Лихо сработали! С такими молодцами и с того света можно уйти. А как он, скажи ты мне на милость, пробирается сквозь всю Сибирь без сучка и задоринки? Я ведь три раза выскальзывал из острога, но и до Урала не мог дойти.

— Это его надобно спросить. Видно, открыл какую-то секретную дорогу. Иначе как же уйдешь? Никак. Я тоже два раза бежал, да и оба раза мужики сибирские голыми руками брали, когда голодуха к ним за куском хлеба гнала.

Да, пройти десятки тысяч километров, избегая столько же тысяч опасностей, и не угодить в руки властям — это не каждому было по силам. Тут и голодать приходилось, и от холода околевать, и на воротах реки переплывать, и спать стоя, прислонившись к лиственнице или кедру, ибо сесть — значило уже не встать. И сидеть в тюрьмах да острогах, ломая голову над тем, как из них убежать, чтобы опять не погнали в Сибирь. Выдержать все это мог только человек, у которого была такая великая цель, как у Кармалюка: освободить свой народ из-под панского ига.

Вот через какие города Кармалюк пробирался в этот третий побег из Сибири: Камышлов, Екатеринбург, Кунгур, Казань, Чебоксары, Васильсурск, Нижний Новгород, Горбатов, Гороховец, Вязники, Ковров, Владимир, Богородск, Покровск. Из Покровска он пошел на Москву, Калугу, Козельск, Волхов, Орел, Кромы, Дмитровой, Севск, Глухов, Кролевец, Борзна, Нежин…

Из Нежина до родной Подолии, где его ждали верные товарищи, было уже рукой подать. Но при переходе через заставу «1830 года января 1-го числа был смотрителем, за неимением письменного вида, задержан и представлен в тамошнюю градскую полицию». На допросе в полиции Кармалюк сказал:

— Родился в Екатеринославской губернии того же повета. На хуторе помещика Якубовича. Прозывают Павлом Богдановым. Помещик отдал в военную службу, а я бежал из рекрутской партии…

Навели справки. Действительно, Павел Богданов был отдан в солдаты и бежал. А с Павлом Богдановым Кармалюк познакомился, когда сидел в тюрьме, и, зная, что того отправили в Сибирь, выдал себя за него. Из Нежина его отправили в «Екатеринослав, в учрежденную при тамошнем ордонанс-гаузе военно-судную комиссию, по решению коей за наказанием сто палками выслан Новгородской губернии Медведовской волости резервной дивизии в Архангелгородский пехотный полк на

службу, куда прибыл после Петрова дня и находился в роте во 2-м батальоне один месяц, а начальных чисел августа месяца… учинил побег… следовал в Псковскую губернию, более 400 верст от Медведовской волости отстоящей». Тут бросил шинель, переоделся в полушубок и пошел на Витебск, Могилев, отсель Могилевской губернии город Рогачев, на Овруч, Житомир, Бердичев. И в ноябре месяце перебрался на Райгородок в Янишпольскую Слободку Литинского повета, а затем перешел черным трактом в селение Новую Синяву.

Такой огромный, тернистый путь проделал Кармалюк, возвращаясь третий раз из Сибири в родные края. Сидел в орловской тюрьме — за что он туда попал и как ушел — неизвестно, в нежинском остроге, в Екатеринославском ордонанс-гаузе. Месяц маршировал с рекрутами, снося зуботычины унтеров и офицеров. Да ко всему этому еще и прошел сквозь строй шпицрутенов! А добрался до Подолии — новая беда: на каждом шагу заставы, учрежденные «для предотвращения» холеры. Пропускает стража через заставу только со справкой от помещика, что в селе нет больных. Народ, напуганный страшным мором, подозрительно смотрит на всех прохожих: не несет ли человек в село беды? И Кармалюку на этот раз по Подолии приходилось пробираться не с меньшими трудностями, чем по Сибири. Но он все-таки передвигался, собирая вокруг себя верных людей.

В мае 1830 года на Подолии начали ходить слухи, что на «черном шляху» появился загон разбойников. Говорили, что атаманом у этих разбойников какой-то Головач. А по секрету добавляли: под этим именем скрывается вернувшийся из Сибири Кармалюк. Слух дошел и до губернатора. Он повелел сделать запрос в Тобольск.

А месяц спустя после этих первых слухов, во время облавы в Кальной-Деражне, был схвачен беглый рекрут Петр Копчук. Когда его на допросе спросили, не знает ли он, кто скрывается под именем Головача, он ответил:

— Кармалюк! Он, как сказывал мне священнический сын Дмитро Мончинский, совсем недавно ночевал в Кальной-Деражне, в школе церковной. Он подбирает здесь себе людей, — словоохотливо рассказывал Копчук, — для отмщения пану Янчевскому за поимку. Сам говорил мне, что подобралось уже более десяти человек.

Пан Янчевский, присутствовавший на этом допросе, позеленел от перепуга. Он накинулся на Копчука с расспросами:

— Где? Где Кармалюк сейчас?

— На сошествие святого духа, — продолжал Копчук, — я

видел его в городе Балте. С ним были Дмитро Мончинский и беглый рекрут Поповский. Дмитро говорил, что пристанище они имеют в селении Бранковатом…

— А где ты виделся с ним? — допытывался Янчевский.

— В заездном доме.

— А где тот дом?

— От рогатки… — начал Копчук, морща лоб, будто с трудом припоминал. — На правой руке от ряду десятый или пятнадцатый дом…

— Точнее! Точнее говори! — требовал исправник.

— Рад бы, но точнее не могу припомнить, ваше благородие. Побей меня бог — не могу. Истинную правду говорю. Вот ежели бы поехать туда, то я бы в точности мог указать…

— А в чем одет этот Головач — Кармалюк?

— В сюртуке суконном, черном. Панталонах такого же сукна. Шинель тоже черного сукна с воротником висящим, на коем три есть нашития.

— А волосы какие носит?

— Длинные, ваше благородие. По-купечески подстриженный. Бакенбарды и усы имеет большие…

— А, шельма! Клейма прячет! Ну, тогда это он! Но как он из каторги ушел? Как сюда, антихрист, пробрался?

— Этого он мне, ваше благородие, не сказывал.

«Показание Копчука, — по свидетельству современника, — поразило всех. Прибавим между прочим, что этот наивный человек, каким его по крайней мере считали, сумел после этих показаний очень ловко улизнуть из тюрьмы. Местная администрация зашевелилась и обнаружила большую энергию. Подольское губернское правление сделало распоряжение по всем уездам, чтобы убежище разбойников во что бы то ни стало было разыскано.

В то же самое время Янчевскому, опасавшемуся нападения, дали команду солдат. Дом деражнянского Демосфена преобразился в маленькую крепость. Владелец окружил его каменной оградой, кругом выкопал глубокую канаву. Окна снабдил железными решетками и двойными ставнями. К дубовой двери, ведущей в дом, приделал железные запоры. Кругом дома ходил постоянно переменяющийся караул. Внутри дом походил на арсенал: на столах лежали ружья, пистолеты, сабли, охотничьи ножи, порох, пули, готовые заряды в патронташах.

Сам же Янчевский не показывал носа со своего двора, вследствие чего сеймики и съезды лишились удовольствия слушать его орации и протестации.

Непонятно, право, как один человек, не имеющий ничего,

кроме разбойничьей отваги, мог производить такое впечатление на общество. Бушевал он по-старому. Он был предметом вечерних бесед и в шляхетской гостиной, и в крестьянской хате, и в корчме. Имя его было на устах у всех. Множество ходило о нем остроумных рассказов. Шляхтич при встрече со знакомым или соседом почти всегда начинал разговор со слов:

— Не слышно ли чего о Кармалюке? Или:

— Следовало бы сделать облаву на этого гультяя! В местах его удалых подвигов путешествовали только днем: опоздавший с большим трудом мог достучаться в корчму. И то после подробного допроса: откуда идет? Много ли имеет с собою людей? Проникнуть в шляхетский двор в десять часов вечера стало почти невозможным: так его крепко баррикадировали.

Помню очень даже смешную сцену по этому поводу. На пана Вицентия, помещика Могилевского уезда, ночью напали разбойники на дороге, в окрестностях Бара. Один приложил ему пистолет к груди, требуя денег. Пан Вицентий имел при себе немного, но зато дома у него был значительный капитал. Он счел более удобным вручить хорошо наполненный кошелек, лишь бы тем купить жизнь. Разбойник, взвесивши в руке кошелек, улыбнулся и выпустил пистолет из рук, который упал в глубину экипажа, А когда его товарищи выгрузили все из сундуков, тогда он, приподнимая шляпу, сказал любезно:

— Рушай!

Кучер, не менее перепуганный, не заставил два раза повторять приказание. Взвился бич на спинах лошадей, и они понеслись галопом.

Когда уже было близко село, пан несколько пришел в себя.

— Грыцю! — окликнул он хлопца, сидевшего рядом с кучером на козлах, — Этот разбойник оставил в экипаже пистолет. Возьми его, он, верно, заряжен…

Надо вам сказать, что пан Вицентий имел отвращение к огнестрельному оружию. Грыць стал искать пистолет и нашел. Но не пистолет, а кусок колбасы, загнутый наподобие пистолета.

Сколько было смеху, как комично пан Вицентий рассказывал о своем приключении! Как подробно описывал фигуру разбойника и дюжины его товарищей, хотя Грыць прибавлял тихонько, что их было только четверо. И при всем том он стал еще больше бояться разбойников. И с тех пор дом его стерегли так старательно, что попасть к нему во двор стало физической невозможностью.

Случилось так, что пан Людвик — сосед и старый знакомый пана Вицентия — возвращался из далекого путешествия. Заблудился и едва к рассвету попал вместо своего дома в село

пана Вицентия. Подъезжает он к его двору, останавливается перед воротами и стучится. Но его не пускают. Наконец отзывается сторож:

— Кто там?

— Сосед.

— Пан приказал никого не впускать.

— Так ступай разбуди пана. Скажи, что возвращаюсь из Киева. Снежная метель нам не дает возможности добраться домой.

— Не имею права отойти от ворот.

— Так я прикажу их выломать! — закричал озябший и рассерженный пан Людвик.

Наконец после долгих переговоров, обещаний на водку Ивась, сторож при воротах, разбудил Грыця, спавшего под панским окном. Последний в продолжение получаса будил буфетного мальчика, мальчик — камердинера, а камердинер — самого пана Вицентия.

Измученный пан Людвик, ожидавший добрый час, увидел с большим удовольствием свет в окнах. Наконец двери распахнулись. Во главе выступает хлопец с фонарем, за ним несколько парубков, вооруженных дрекольем. А за ними следует маленький, сгорбленный пан Вицентий, закутанный в халат, с огромной заржавленной рапирой в руке.

— Кто ты такой? — крикнул он, приближаясь к забаррикадированным воротам. — И как решил прервать сон мирных жителей?

— Шути себе на здоровье, пане Вицентий, а меня уже злость берет, что ты заставляешь так долго ждать.

— Но кто ты? — спросил снова патетично хозяин.

— Так ты уже и по голосу меня не узнаешь? Да мы с тобой тридцать лет соседи! Я Людвик!

— Неправда, ты не Людвик! Людвик — порядочный человек, ночью не ездит. Только Кармалюк и его сообщники шатаются после заката солнца.

— А чтоб тебя бог не помнил! И меня и себя мучишь, а я умираю от усталости. Так спроси людей, они тебе засвидетельствуют, что я не лгу.

— Хорошо! Посмотрим! Послушай, Ивасю! — сказал пан Вицентий, обращаясь к сторожу. — Это пан Людвик?

— Да, вельможный пане.

Потом продолжался допрос слуг, а когда все засвидетельствовали тождество лица, хозяин еще спросил прибывшего:

— А может, ты переодетый Кармалюк? Ворота, однако,

открыли. Соседи обнялись.

— Видишь ли, — говорил пан Вицентий, — тот подлец или кто-то из его шайки чуть меня не убил. Из пистолета стрелял! Правда, не убил, но страху на меня нагнал и деньги отобрал. Впрочем, с полным уважением отнесся ко мне. Даже, прощаясь, шляпу приподнял. Чудеса, скажу вам, сосед».

Летичевская полиция получила уведомление от пана Гдовского о том, что 10 августа 1830 года лесничий села Майдана Хршановский встретил в лесу разбойников, между которыми узнал Кармалюка.

— Езжай своей дорогой! — сказал Кармалюк. — Но помни: если проронишь хоть слово о том, что тут видел, то на первом же дереве повешу! Поклянись, что никому не скажешь!

Лесничий стал на колени. Бледный, как платок, поцеловал землю, пальцы накрест сложил. Тогда ему крикнули:

— Ну, теперь ступай!

Но клятвы своей лесничий, разумеется, не сдержал. Он все рассказал пану Гдовскому. Устроили облаву в майдановских и соседних лесах. Согнали туда три тысячи крестьян и солдат под начальством офицера, но ни Кармалюка, ни его товарищей не нашли. Губернская администрация опять отнеслась к уездным начальникам и в соседние губернии. Не минула и Бессарабии. Но все безуспешно.

Ядро загона Кармалюка в это время составляли: Петр Копчук, двадцатипятилетний парень, одаренный удивительной ловкостью и изворотливостью, Мончинский и Поповский — тоже экс-солдаты, два брата Хмелевских из Ялтушков, Анастасий Черновский из Ямпольского уезда, три Блажкуна из Новой Синявы.

За последнее десятилетие холера не один раз, перешагнув южные границы, распространялась по Подолии. Медицина была бессильна перед этой грозной эпидемией. Главное средство борьбы с нею было: самим не выходить из своих сел никого чужого к себе не пускать.

Жизнь в крае замерла. Перестали скрипеть чумацкие возы, груженые солью, таранью и прочим товаром, который возили именно из тех мест — Астрахань, Крым, — откуда пришла холера. Паны, используя страх народа перед холерой, говорили:

— Бойтесь разбойников, как холеры. Это они, шатаясь по всему свету, занесли к нам заразу. Ловите их! Вяжите, если не хотите уйти на тот свет всем селом!

А деражнянский Демосфен пан Янчевский, томясь под караулом солдат в своем забаррикадированном доме, начал даже говорить, что это Кармалюк принес холеру из Сибири.

Возвращался он, мол, оттуда через Астрахань и захватил ее там. Но его, разбойника, и холера не берет, потому что он давно уже продал черту душу. А все, кто встретился с ним, гибнут, как мошка, налетающая на огонь костра. Люди и верили этому и не верили, но одно было несомненно: холера не хлынула с неба, как дождь, а ее кто-то принес. А принести мог только тот, кто ходит по всему миру. Кармалюк же, возвращаясь из Сибири, бог знает в каких только краях не бывал. И то, что самого Кармалюка холера не берет, тоже не удивительно: если для того, как все говорят, чтобы убить его, надо пулю двенадцать раз освятить, то куда же холере одолеть его.

Передвигаться всем отрядом, как это было раньше, стало почти невозможно: если крестьяне и не задерживали загон, то, боясь холеры, предупреждали друг друга о приходе чужих людей. Слух доходил до пана, и тот поднимал всех на облаву, гнал нарочного к исправнику, требуя солдат. Кармалюк видел, что продолжать борьбу в такой обстановке — значит загубить отряд. После долгих раздумий он собрал всех хлопцев своих и сказал:

— Я предлагаю так: разгромим Янчевского, а вместе с ним и злейшего врага Блажкунов — Белиовского, чтобы народ не сказал, что я не сдержал слово. А потом уйдем в Австрию. Пересидим там холеру, вернемся и тогда уже гульнем так, чтобы долго проклятые паны помнили! Кто не хочет со мной уходить в Австрию, пусть остается здесь. Я никого не принуждаю. Но глядите: если кто назовется моим именем, пусть тогда не попадается мне! Расправлюсь с ним, как с предателем. Я не хочу, чтобы паны говорили народу, что я разношу холеру! А как я расправляюсь с предателями, то все знают. Или забыли?

— Знаемо, батьку, — вразнобой ответили хлопцы.

— Так кто в Австрию со мной?

— Вси, батьку…

— Добре! В Синяву пробираться будем по одному. Сбор у Блажкунов. Все поняли?

— Поняли, батьку!

— И не мешкайте в пути. За неделю чтобы все были там. А на дорогу да на удачу давайте по чарке выпьем. Холера, как говорят паны, одного меня не берет, а кого-нибудь из вас, может, и прихватит. Так давайте ж выпьем, чтобы всем вам и от холеры уйти и заставы обойти!

— Будь здоров и ты, батьку! — поднял чарку Мончинский.

— И вам удачи, хлопцы мои!

— Пусть до скончания века паны боятся тебя, батьку, пуще холеры! И пусть сгинут они от руки твоей, как от холеры!

— Сгинут! Я в это свято верю! Ну, доброго пути вам, орлы

мои!

— Пусть и тебя, батьку, не оставляет счастье! А на дорогу да на удачу давай споем нашу песню! Затяни, батьку!

Кармалюк улыбнулся, пригладил свои казацкие усы и, помедлив, затянул немного глуховатым, но каким-то необыкновенно задушевным и сильным голосом:

За Сибіром сонце сходить,
Хлопці, не зівайте…

Все подхватили одним духом:

Ви на мене, Кармалюка,
Всю надію майте…

Только под утро, погасив костры, все распрощались и разошлись разными дорогами, но к одной цели.

С семьей Блажкунов Кармалюк давно был связан. После второго побега из Сибири здесь, в Новой Синяве, у него была штаб-квартира основных сил загона. Главу семейства Дениса Блажкуна сослали вместе с ним в Сибирь, откуда он так и не вернулся. Но сыны Дениса: Михайло, Андрей и Никифор, хотя и были ближайшими друзьями и помощниками Устима, избежали суда — их не выдали ни отец, ни Кармалюк. Люди они были смелые, вели себя независимо, что весьма не нравилось их пану Белиовскому. Он на каждом шагу притеснял их, за малейшую провинность порол. А после того как Белиовский запорол до смерти крестьянина Юхима Ярушкова и они «по долгу присяги съехавшему на следствие исправнику сознали правду», им никакой жизни не стало. Но одни они не отваживались расправиться с врагом своим. А когда узнали, что вернулся Кармалюк, приступили со слезной просьбой к нему: «Помоги отомстить врагу! Батька пан в Сибирь загнал, а нас того и гляди в могилу загонит». Кармалюк согласился. Он рассчитывал, собрав силы загона у Блажкунов, одним ударом рассчитаться и с Белиовским и с Янчевским. Нападением на Янчевского он к тому же рассчитывал отвести подозрение от Блажкунов за Белиовского.

Крестьянам, боготворившим Кармалюка, заставы не доверяли: на них стояли шляхтичи. Кармалюк надел шляхетскую одежду и двинулся в путь. Говорил он по-польски настолько чисто, держался так искусно, что шляхта принимала его за своего.

Шляхтич Павел Заржицкий, не подозревая, с кем имеет дело, вызвался помочь своему собрату. На зофиопольской заставе стоял его приятель шляхтич Богулярский, и он взялся перевезти через нее Кармалюка. Устим хорошо угостил Заржицкого в зофиопольской корчме, да еще и денег посулил дать за подвоз. Это победило в жадном Заржицком даже страх перед холерой. Так как Заржицкий возил офицера инвалидной команды в село Торчин, где заседатель Литинского суда, разыскивая Кармалюка, собирался делать повальные облавы, то Богулярский, узнав Заржицкого, даже не спросил, кого он назад везет. Кому же могло прийти в голову, что на той самой телеге, на которой только что уехал офицер ловить Кармалюка, едет сам Кармалюк? Да и везет его тот Заржицкий, который считает Кармалюка своим личным врагом.

Когда благополучно перебрались через заставу, Заржицкий спросил своего спутника, назвавшегося Кульчицким:

— Куда же пан Кульчицкий путь держит?

— В Новую Синяву, — ответил Кармалюк — Кульчицкий, — на службу к пану Белиовскому. Да если бы я знал, что у вас тут такая паника, ни за что бы не двинулся из Варшавы.

— Да у нас тут холера за холерой. То было хоть попеременно: то холера, то гайдамаки Кармалюка. А теперь господь совсем отвернулся от нас: послал и холеру и гайдамаков.

— А говорили же, что Кармалюка погнали в Сибирь, — с трудом сдерживая улыбку, сказал Устим.

— О, пан не знает, что то еще за дьявол! — воскликнул Заржицкий. — Его никакие тюрьмы, никакие замки и кандалы не держат. Говорят даже, что стоит этому разбойнику нарисовать челн на стене крепости углем, как он может сесть в него со своими гайдамаками и уплыть. Так было уже в Каменце. Нарисовал он на стене челн, посадил в него десять человек и выплыл по-под землей прямо в реку Смотрич. Да, слава Иезусу, стража все-таки заметила и схватила его…

— Да это пан сказки говорит! — не удержавшись, рассмеялся Кармалюк.

— Ой, нет! То есть святая правда! Пан вот поживет здесь, так еще не то услышит про этого гультяя! Теперь уж он, говорят, совсем продал черту душу, и тот научил его, как невидимкой ходить.

— Как же это ему удается? — с неподдельным интересом начал расспрашивать Кармалюк про свои похождения, о которых и во сне ему не виделось. — Какие же он чары знает?

— Говорят, у черной кошки есть кость-невидимка. Он сварил кошку, отобрал все кости и стал перед зеркалом. Возьмет одну —

видно его в зеркало. Возьмет другую — тоже видно. Взял третью и — не стало видно. Положит ее — вновь видно. Он взял третью кость и ходит с ней. Как услышит он, что облава приближается, возьмет эту кость в руку — и его не видно. Возьмет еще камень, бросит в воду, а те, что ловят, видят: круги расходятся. Ну, думают, ушел в воду. И возвращаются домой. А он и живет себе преспокойно в лесу.

— Да это же просто чудеса! — неудержимо рассмеялся Кармалюк. — За такое колдовство когда-то на кострах сжигали.

— А его тоже, придет час, сожгут, — очень серьезно заверил Заржицкий. — Мне об этом сам пан ксендз говорил. Так пан Кульчицкий в селе Чешках встает?

— Да. В корчме я подожду, может, кто-нибудь в Новую Синяву будет ехать. Думаю, что пан не откажется выпить со мной кручек[22] горилки?

— О, проше пана! — обрадовался Заржицкий возможности выпить за чужой счет. — Проше пана! Мне так приятно было услужить пану из Варшавы. Я там никогда не был, но все в мечте своей имею поехать и посмотреть. Да все что-то на пути стоит: то гайдамаки, то холера. За здоровье пана!

Проводив Павла Заржицкого, Кармалюк начал пробираться к Блажкунам. До Новой Синявы от Чешек уже совсем недалеко. Но это никак не облегчало дело, ибо одеяние шляхетское уже не могло помочь ему: одно появление нового человека — будь то крестьянин или шляхтич — встревожило бы все село. А это значит, что о его приходе узнал бы тотчас же и пан Белиовский. И Кармалюк начал пробираться туда лесами и болотами, делая большие и утомительные обходы.

Из троих сыновей Блажкуна старший, Михайло, в прошлый раз был посажен в острог, но потом его отпустили за неимением улик, а экономии предписали: держать под неусыпным наблюдением.

Когда же Копчук на следствии признался, что видел Кармалюка, власти принялись за поиски, и исправник стал слать одно предписание за другим «насчет преследования и поимки упомянутого Кармалюка». Эти предписания исправника, уверявшего, что Кармалюк скрывается где-то возле Новой Синявы или даже в самом селе, так напугали старого пана Белиовского, что он слег в постель и не показывался из своего забаррикадированного дома, как и пан Янчевский. А экономе Секлецкому не давал покоя, приказывая устраивать облавы, повальные обыски, допросы подозреваемых в укрывательстве. И Секлецкий, «кроме сделания в сем предмете распоряжения, приказал из числа их родственников, ни в чем не зазрительной

жене Никифора Блажкуна Параске Наумовой, дабы она» явилась к нему.

Параске было всего двадцать шесть лет. Арест свекра и старшего деверя, а затем высылка свекра в Сибирь, постоянные обыски в доме, придирки пана Белиовского, розги, на которые не скупился ни пан, ни эконом, — все это она, будучи женщиной очень слабохарактерной, тяжело переживала. Пришла она в дом Блажкунов из религиозной семьи и, боясь за мужа, молилась богу до изнеможения. На исповедях открывала священнику секреты семьи — в семье было пятнадцать человек! — за что все сторонились ее. Эконом Секлецкий знал это, а потому и выбор его пал на Параску.

— Вот что, Параско, — сказал Секлецкий, — нам стало известно, что твой Никифор и братья его опять укрывают разбойника Кармалюка, за придержательство которого их отец уже пошел в Сибирь. Но то, что теперь и твой Никифор, и Михайло, и Андрей — все пойдут в Сибирь, не главная беда. Самое страшное, что этот разбойник Кармалюк несет с собой холеру! Да, да, и холера его не берет, так как он продал черту душу, а всех вас да и все село повалит, как бурьян косой. Так, батюшка, я говорю? — повернулся эконом к священнику, которого пригласил в помощь себе.

— Истинно, истинно, — подхватил священник. — И ты, дочь моя, говори все, как на исповеди, ежели не хочешь и сама погибнуть и все село в страшную пагубу ввести. Ежели ты можешь, дочь моя, обезвредить этого холерного диавола Кармалюка, то бог простит тебе все прегрешения твои.

— А пан исправник еще и вознаграждение выдаст тебе пять рублей серебром, — добавил эконом.

Долго эконом Секлецкий с помощью священника пугал Параску страшными бедами, которые несет ей, ее детям, всей семье и всему селу Кармалюк, и она согласилась сообщить пану, как только он появится. Она думала: пусть, мол, я пострадаю одна, взяв такой грех на душу, но зато спасу всех, и люди не будут меня осуждать. Ей и в голову не пришло, что батюшка коварно обманывает ее. Ведь кто же, как не он, святой отец, знает, кто продал душу черту, а кто нет. Она и раньше слышала, что Кармалюк знается с нечистой силой, да думала, что это сплетни, а вот и сам батюшка об этом говорит. И из тюрьмы он, мол, уходит с помощью нечистой силы, и из Сибири возвращается, и от холеры спасается. И все это, видно, так: если свекор вон не знался с нечистой силой, то и не вернулся из Сибири. А Кармалюк вернулся. Нет, видно, без помощи нечистой тут дело не обошлось…

В Новую Синяву Кармалюк пробрался никем не замеченный. Он поселился у Блажкунов и, поджидая товарищей, которые медленно подходили, жалуясь на то, что холера крепче исправника и солдат поставила преграды на пути, начал разрабатывать план нападения на пана. Подошел уже декабрь. Стояли холода, но Кармалюк жил в сарае, зная, как пристально следят за всеми Блажкунами. Самую деятельную помощь в подготовке нападения оказывал ему Никифор, наиболее решительный из всех братьев. А Параске приходилось по приказанию мужа носить еду Кармалюку в сарай. У нее ноги подкашивались от страха: ей казалось, что Кармалюк сразу же догадается, что она пообещала выдать его. Она боялась взглянуть в его такие добрые глаза. Ей было жаль его. Она ночи молилась, чтобы бог вразумил ее, что делать, и все не шла к эконому. Но тот сам позвал ее и уже по испугу и растерянности понял, что она что-то знает, но не решается сказать. Позвал опять священника, и они принялись допрашивать ее. Поп стал грозить страшными карами господними за отступничество, и Параска не выдержала, сказала, глотая слезы:

— Пришел он…

— Кармалюк?! — испуганно вскочил эконом.

— Ага…

— Спаси и помилуй мя… — закрестился поп. — Со всей шайкой своей?

— Не знаю. Я только одного его видела…

— А где он сейчас?

— У нас на току…

Не отпуская Параску, эконом побежал к пану Белиовскому. Тот приказал собрать всю дворню и схватить разбойника. Но посоветовал эконому не говорить людям, что идут брать Кармалюка и его товарищей, а сказать, что идут на каких-то пришлых людей, кои, как есть подозрение, пробрались в село воровским образом из холерных мест. Хитрость старого Белиовского возымела действие: по первому же зову ловить холерных собралось более ста человек. Двор Блажкунов был окружен. Кармалюк с товарищами спал в это время в сарае, и его схватили сонного. Он крикнул:

— Кого вы вяжете?! Я Кармалюк!

Мужики шарахнулись от него, но шляхтичи успели уже скрутить руки и ноги веревками. Арестованы были все братья Блажкуны, а остальным удалось скрыться. И вновь под усиленным конвоем солдат, закованного в кандалы, повели Кармалюка в Литин.

ПОБЕГ ИЗ ЛИТИНСКОГО ЗАМКА

Не вмирає він від пулі,
В мороз не холоне.
Не згорає на вогні він
І в воді не тоне…

В ноябре 1830 года в Польше вспыхнуло восстание, подготовленное панами и шляхтой. Польская аристократия, создав правительство во главе со своим лидером магнатом Чарторыйским, провозгласила государственное возрождение Польши. Но не в ее национальных границах, а в пределах Речи Посполитой. Правобережная Украина, как это было до 1772 года, вновь объявлялась неотъемлемой частью Польши.

Войска, которые Николай I собирался послать во Францию для подавления революции, пришлось направить в Польшу.

Главнокомандующий 1-й русской армией граф Остен-Сакен, боясь, как бы крестьяне не примкнули к восставшим, обнародовал «Объявление о действиях противу мятежников в губерниях Киевской, Подольской и Волынской». Граф Остен-Сакен в этом «объявлении» призывал «захватывать и представлять начальству» восставших поляков, обещая, что крестьяне «никогда уже не будут принадлежать тем помещикам, которые восстают против законной власти». Крестьяне, увидев в этом «объявлении» обещание освободить их от крепостной неволи, начали оказывать всяческое содействие русским войскам.

Но когда восстание было подавлено, Николай I простил панов, добровольно отдавшихся в руки властей, и вернул им конфискованные имения вместе с крепостными. Паны начали жестоко мстить своим хлопам за их, как они говорили, «зраду». Положение крестьян стало значительно хуже, чем оно было до восстания. Это вынуждены были признать даже власти. «Крестьяне греко-российского вероисповедания, — писал генерал-губернатор Бибиков, — после отдания многих из них возвратившимся помещикам, вытерпев жестокое преследование и не получив за свои заслуги ни малейшего со стороны правительства возмездия, начинают приходить в совершенное к оному охлаждение».

Признание это очень знаменательно. Крестьяне перестали верить в то, что высшие власти — ив первую очередь царь — помогут им освободиться от ненавистного ига панов. Они начинают более активно выступать против своих угнетателей.

О восстании 1830–1831 года Ф. Энгельс писал, что оно «не

было ни национальной революцией (оно оставило за бортом три четверти Польши), ни социальной или политической революцией; оно ничего не изменяло во внутреннем положении народа; это была консервативная революция».[23]

Во время восстания Кармалюк сидел в Литинском замке. Восстание отодвинуло его дело на второй план, и оно тянулось полтора года. Привлечено к нему было шестьсот шесть мужчин и двенадцать женщин. Губернатор торопил суд с вынесением приговора. Литинские чиновники совершенно закопались в деле и не знали, как свести концы с концами. Кармалюк давно уже стал личным врагом всех этих земских судей, подсудков, секретарей, заседателей, стряпчих и писарей. Они корпели день и ночь, а в награду за свой труд получали выговоры от высшего начальства. Снова ругали генерал-губернатора Бахметьева, который в 1818 году не утвердил смертный приговор Кармалюку. И что больше всего угнетало чиновную братию — это бесполезность их труда. Допрашивают они, пишут протоколы, судят, тратя на это по полтора года, выносят, наконец, приговор, а проходит несколько месяцев, и Кармалюк вновь появляется в родных местах. И все нужно начинать сначала.

— Нет, я сойду с ума от этого дела, — говорил судья Родзеловский, приходя в отчаяние от новой взбучки губернского начальства. — Все торопят, все требуют тысячи сведений, забывая, что у нас нижний земский суд, а не головной губернский. А о самоскорейшем и точном требовании нашем о высылке другими судами лиц для дачи очных ставок никто не проявляет должной озабоченности.

— Это точно! — подтвердил секретарь Муржинский. — Я несколько напоминаний отправил в Могилевский суд, в Летичевский, житомирскому исправнику, и все нет ни ответов, ни нужных для окончания следствия людей.

— Так предварите еще раз все сии места, что если не пришлют нам исполнительных по сему предмету рапортов в пятнадцать дней, то в прекращение бесполезной переписки посланы будут на счет их нарочные, на что имеется указ губернского правления. Отнеситесь и в Волынский суд, дабы они тоже в самопоспешнейшем времени удовлетворили все наши требования. Ах, с каким удовольствием я приговорил бы этого Кармалюка к виселице!

— Что делать, — вздохнул секретарь, — нет такой статьи в уголовном кодексе.

— Но все равно: я буду настаивать перед головным судом о принятии решения передать дело — а оно вполне заслуживает

этого — в комиссию военного суда. Он ведь опять сказывался рекрутом и, пользуясь правами оного, сумел уйти.

Эта мысль — переправить как-то дело в комиссию военного суда и приговорить Кармалюка к смертной казни — все настоятельнее обсуждалась в Литине и в Каменец-Подольске, по мере того как следствие подходило к концу. Власти хотели на этот раз во что бы то ни стало окончательно расправиться с Кармалюком. Шестнадцать месяцев Кармалюк сидел в Литинском тюремном замке, прикованный цепью к столбу. До него тоже дошли эти намерения начальства, и он понял: если не убежит, то придется идти на эшафот. Столько времени его держат на цепи, в одиночной камере — с ним находился только один арестант, который был, по сути дела, помощником надзирателя, — не за тем, чтобы отправить в Сибирь и опять дать возможность вырваться на волю. Но нет! Он должен уйти на волю, а не на эшафот!

Незадолго до суда Кармалюк стал неузнаваем. Молился, пел религиозные песни, с раскаянием приступил к исповеди, что несказанно обрадовало протоиерея Левицкого, постоянно увещевавшего его. Кармалюк говорил, что чует приближение смерти. Он почти не ел и все стоял на коленях да бил поклоны.

— Ага, проняло окаянную душу! — злорадствовал начальник тюрьмы. — Прохватило. То ли еще будет, когда ты, разбойник, предстанешь пред судом всевышнего!

— Молись, молись, сын мой, — одобрительно повторял поп. — Бог милостив. Он простит тебе грехи твои, ежели ты чистосердечно откроешь суду все противузаконные деяния свои.

Кармалюк на всех очных ставках — с кем бы они ни были — неизменно отвечал одно: не видел этого человека и не ведаю, кто он такой! А на допросах заявлял, что к тому, что он уже показал, добавить нечего. И когда в нем заметили такую разительную перемену, опять начали вызывать на передопросы. Так, 23 октября «при священническом увещевании» Кармалюк согласился отвечать на вопросы. Дабы польстить самолюбию протоиерея и тем самым добиться с его помощью снятия цепи, он каждый ответ начинал так:

— Как наставлял меня отец святой…

«Святой отец» был на седьмом небе. Но Кармалюк, хотя и стоял перед следователями, впервые покаянно опустив голову, на вопросы отвечал, как заметил после допроса сам протоиерей, словоблудно. Говорил много и, казалось, обстоятельно, но пусто. К тому, что он уже показал на первом допросе, добавил только, что до села Чешек через заставу провез его шляхтич. Как его прозывают — не помнит, а помнит только, что он в тот день

возил заседателя. В трактовой корчме, отстоящей от Чешек не более как в трех верстах, он прожил шестеро суток, ожидая лучшей дороги. «Оттоль же прибыл в мурованную зофиопольскую корчму, затем пошел ночью в селение Синяву. Тамо еще две ночи скрывался помимо ведома хозяев, поколь нашел дом Блажкуна…».

Вот и все. Разыскали Павла Заржицкого. Тот, перепугавшись насмерть, подтвердил, что действительно перевез через заставу человека, называвшегося шляхтичем. Но что он Кармалюк, бог свидетель, он не знал и не ведал. Человек тот говорил по-польски чисто и по всему был похож на шляхтича, а не на хлопа. Крестьяне села Чешек засвидетельствовали, что Заржицкий никогда «в худых поступках ими не замечен». Шляхтича отпустили, а протоиерей ликовал: видите, мол, начал, разбойник, правду говорить. И дайте мне, дескать, только срок, я его заставлю всю подноготную открыть.

3 декабря 1831 года состоялся суд. Как Кармалюк ни молился в своей камере, а на суде ничего не открыл из того, что было уже известно. Приговор гласил: наказать вновь сто одним ударом и, обновив знаки, отправить в каторжную работу. Дело пошло в Подольскую уголовную палату, а Кармалюк после суда и совсем сдал: целыми днями, не поднимаясь, он лежал на соломе, которая служила ему постелью. Устим просил священника только об одной милости: выхлопотать ему право умереть не на цепи. Начал он об этом просить только после объявления приговора, потому что знал: суд теперь уже не заботит его судьба. Судьи, отослав бумаги, рады, что избавились от него. А в планы тюремного начальства тоже никак не входило, чтобы он умер на цепи: за это от самого губернатора, который следит за делом, будет такой нагоняй, что не ровен час можно и под суд угодить. И Кармалюк, взвесив все это, сделал последний ход: объявил голодовку и попросил, чтобы прислали священника соборовать его. Перепуганный начальник тюрьмы кинулся к исправнику, но тот руками замахал на него:

— Да вы с ума сошли! Идут упорные слухи, что дело этого разбойника будет передано комиссии военного суда для вынесения смертного приговора в поучение всем другим разбойникам. Нет, уж вы там как хотите, а чтобы до отправки в Каменец он был жив.

— Но он уже третий день не принимает пищи!

— Штаб-лекаря вызывали?

— Приглашал. Говорит, что нужно снять с цепи и выводить на прогулку. Протоиерей тоже на эту меру благословляет…

Доложили в губернское правление, оттуда ответили: что

хотите делайте, но Кармалюк чтобы был в полной сохранности. Деваться было некуда: пришлось снять цепь, удвоив караул. Устим этого только и ждал. В тот же день товарищи его на воле получили приказ: каждую ночь нести дежурство у стен замка. С одеждой, оружием и оседланным конем.

Пока в Подольской уголовной палате ломали головы, как подвести Кармалюка под смертный приговор, он усиленно трудился, готовя побег. Ему переправили товарищи бурав и нож, которые он спрятал под полом. Арестант, приставленный к нему как соглядатай, давно уже стал верным его помощником.

Потолок камеры был деревянный и выходил прямо на чердак, откуда, как узнал Устам, легко можно было выбраться на крышу. Стена же замка в том месте выходила прямо на улицу. Значит, спустившись с крыши по веревке — она тоже была припасена, он попадал прямо в объятия своих хлопцев.

В углу камеры, где можно было, став на печку, дотянуться до потолка, он начал сверлить дырки на пространстве квадратного локтя. На день он залеплял их хлебом и затирал мелом. Он по-прежнему усердно молился, покорно выслушивал нудные, иезуитские поучения протоиерея Левицкого. Он так искусно играл роль кающегося грешника, что никому и в голову не приходило, что этот немощный, еле передвигающий ноги человек ночи напролет, обливаясь потом, сверлит толстые дубовые доски в потолке камеры.

Когда все дырки были пробуравлены, Кармалюк ножом перерезал тонкие перемычки между ними и вынул кусок.

— Помогай тоби бог, батьку…

— Поможе. Я стилькы ж молывся.

Уговор был такой: когда Кармалюк спустится с крыши, за ним полезет и его товарищ по камере. Но не успел Устим выбраться на крышу, как в камере грохнул выстрел. Забыв об осторожности, он ринулся вниз, обжигая веревкой руки. И очутился среди своих хлопцев.

А в камере произошло вот что. Как раз в тот момент, когда соузник Кармалюка полез в отверстие, часовой заглянул в волчок. Поняв, в чем дело, он выстрелил, и пуля уложила беглеца насмерть. Пока открыли камеру, пока разобрались в происшедшем, Кармалюк был уже далеко. Одна только веревка болталась вдоль стены, свешиваясь с крыши.

В тюрьме — а потом и во всем городе — поднялась паника. Все ринулись в погоню. Но было уже поздно: Кармалюк в сопровождении Андрея Словинского скакал на коне, все дальше уходя в лес от Литинского замка, где он просидел на цепи почти полтора года.

«Подольского гражданского губернатора
Киевскому гражданскому губернатору.

Содержащийся в литинской градской тюрьме Устим Кармалюк с 14-е на 15-е число сего апреля бежал.

Препровождая при сем описание примет сего преступника, честь имею покорнейше просить ваше превосходительство приказать сделать во вверенной вам губернии строгое разыскание к отысканию, поимке и доставлению за строжайшим караулом оного преступника в город Литии; о последующем же почтить меня уведомлением.

Гражданский губернатор Лубяновский.

Описание примет Кармалюка.

Росту большого, сложения плотного, волосы светло-русые, лицо круглое, глаза серые. Во рту, в нижней щеке, передний зуб выбит. Говорит русским, польским и еврейским языками. Голова перебрита. Одет в армяке простого сукна, шапка с козырьком тонкого черного сукна, лет 47».

Точно такие же «покорнейшие просьбы» были разосланы и в другие смежные губернии. Губернаторы предписывали «градским и земским полициям учинить строгое разыскание к отысканию» Кармалюка, сообщая им его приметы. Но в ответ на эти предписания градские и земские полиции доносили в рапортах, что после «самоточнейших разысканий» такового не оказалось.

ГАЛУЗИНСКАЯ КОМИССИЯ

Ой як стали вражі ляхи
Та й радити раду,
Соколоньку Кармалюку
Готувати зраду…

«В этот новый период своей жизни, — пишет Ролле, — Кармалюк оказался в полном смысле разбойником. Разбой организовывается теперь широко, не ограничиваясь волостью, уездом, даже губернией. Отряды его рассеиваются по всему юго-западному краю. Даже переходят его.

Предводительствует всей этой толпой разбойников Кармалюк, для которого решетка тюрьмы и пуля — ничто; ссылка в Сибирь, при уверенности в скором возвращении, — приятная прогулка; тысячи палок, падающих на его спину, — укушение комара; кнут — едва чувствительная неприятность.

Кармалюк — олицетворение силы в глазах крестьян, олицетворение ловкости в отношении полиции.

Крестьяне верят в его сверхъестественное могущество. Если он нападает, то так ловко и неожиданно, что ему поддается даже значительная сила. Полиция получает постоянно заявления о разбоях, преследует разбойников почти по пятам. Но по малочисленности своей должна звать мужиков на помощь, а они уже большей частью стоят на стороне разбойников и помогают им скрываться.

Кармалюк среди белого дня переходит от хаты до хаты, бывает на храмовых праздниках, крестит детей у мирных хозяев. Переодетый или отставным солдатом, или чумаком, ходит по панским садам, спокойно присматриваясь к расположению места, чтобы полученными в течение дня сведениями воспользоваться при ночном нападении. Сельская стража действительно караулит по селам, но этим только оберегает его безопасность. Что это было так, достаточно сказать, что он скрывался в продолжение трех лет в тех местах, которые были почти на осадном положении».

К этому следует добавить, что написал это человек, который ставил своей целью, берясь за очерк жизни Кармалюка, очернить славного рыцаря. Но факты, сохранившиеся в судебных делах, — а многие из тех дел, которые читал Антоний Ролле, к сожалению, не дошли до нас, — в народных песнях и преданиях, как видно, вынуждали даже этого шляхетского публициста говорить правду о Кармалюке.

Гренадерского графа Аракчеева полка отставной подполковник Дембицкий 1 ноября 1833 года остановился на ночлег в корчме «Выгода», расположенной недалеко от села Галузинцы. Вез он деньги, казенные ордена, патенты на чины, грамоты на ордена и прочие ценные бумаги. Да несколько возов своего добра, благоприобретенного на взятки, которые он брал, используя служебное положение.

Галузинская корчма «Выгода» стояла между Баром и Шаргородом. Располагалась она на холме, возвышавшемся в лесу. Большие постройки, окруженные забором, дубовые ворота с запорами, удобные комнаты — все это привлекало проезжих. А главное: в этом месте ехавших из Бара в Шаргород заставала ночь. Добрался к этой корчме уже ночью и Дембицкий, а потому и остановился в ней. Арендаря корчмы не было: он уехал с женой на свадьбу к родственникам. Это показалось подполковнику подозрительным, но ехать ночью дальше тоже было опасно, и он приказал слугам сгружать все добро с возов в корчму.

Когда уже все спали, кто-то постучался в окно. Сторож Фроим, на попечение которого арендарь оставил корчму, не спешил открывать. Но стук повторился настойчивее. Фроим подошел к окну, спросил:

— Хто там?

— Фроим, це ты?

— Я. А шо, пану, треба?

— Вынесы горилкы! — Хозяина нема.

— Давай! Давай, колы просять! — уже не тоном просьбы, а тоном приказа сказал тот, кто стоял под окном.

Фроим открыл дверь. На пороге появилась группа вооруженных людей.

Подполковник Дембицкий имел при себе оружие, и завязался бой. «При обороне от разбойников, — пишет он в суд, — я в пяти местах пикою ранен. А взамен первому, на меня бросившемуся, я саблей дал удар через правое плечо, от которого предполагать должно, ежели на теле нет знака, то одежда верно изрублена. И сверх сего на пиках от сабельных ударов должны быть зарубины.

В лицо я ни одного признать не могу. А только приметить мог, что один, который хозяйничал, был росту большого, три, которые были противу меня, росту среднего. А прочих, бывших на дворе, я только и приметил, что через двери вещи получали.

Честь имею оному суду о сем донести. Прилагаю у сего ведомость ограбленным у меня деньгам, казенным орденам, которые принадлежат возврату в капитул, патентам на чины, грамотам на ордена и прочим бумагам и вещам. Всепокорнейше

прошу, что по сему делу до сих пор открылось, уведомить меня через почту. Ежели бы нужным было мое присутствие, то сие не прежде моего выздоровления быть может. Сверх полученных при обороне ран, спасаясь бегством по лесам, оврагам и полям, как я, равно и моя жена, имеем так изранены подошвы, что с постели тронуться не можем».

Переполох после нападения на корчму «Выгода» поднялся невиданный. Начались небывалые облавы, в которых принимали участие тысячи человек. «Но поймать Кармалюка, — признает тот же Ролле, — казалось немыслимым. Поиски оставались без результатов. Беспрерывные патрули, внезапные обыски в домах лиц подозреваемых — все было напрасно! Неудачи властей, действовавших теперь с полной энергией, заставили думать, что Кармалюк ушел из тех мест или умер, что другие пользуются популярностью его имени, что таких самозванцев Кармалюков рассажено много по тюрьмам, а настоящего уже не существует.

Всем известно было, что Кармалюк силы неимоверной и что в своей жизни, прошедшей в опасностях за свою свободу, он научился необычайной предусмотрительности. Зная уже все способы поисков, он умел ловко избегать их и посмеивался над толпой людей, ищущих его там, где дотоле он не бывал.

Случалось, например, в лесу делают облаву. Направилась она с запада. Крику, шуму, угроз — пропасть! Вдруг прибегает крестьянин к начальнику, испуганный и бледный. Он утверждает, что совершенно в противоположной стороне, собирая ветки в лесу, встретил Кармалюка. Тогда часть людей спешит на указанное место. И действительно, находит или пику, или порядочную дубину и следы логовища, но разбойника — никогда.

Случалось даже, что во время поисков является откуда ни возьмись нищий старик, согбенный под бременем лет. С лирою через плечо. Он говорит ищущим, что полчаса тому встретил вооруженного человека, похожего на Кармалюка, что человек этот подал ему щедрую милостыню. И вот бросаются туда, откуда пришел нищий. И что же? Целый костюм Кармалюка попадал в руки погони, но его самого не было. А нищий, войдя в село, как сквозь землю провалился. Другие утверждают, что сам разбойник, переодевшись мужиком, принимал участие в облаве. Вот, должно быть, он смеялся тогда.

Во всяком случае, его больше беспокоили конные патрули, состоявшие из шляхты. Тогда ватажок пересиживал на дереве, как птица, по целым дням, томимый голодом, жаждой и бессонницей.

Товарищи Кармалюка, посаженные в тюрьму, не умели сказать, где скрывается их предводитель. Являлся он среди них неожиданно. Иногда соберутся в пуще для совета — как устроить

нападение, с которой стороны начать штурм панского двора. Еще не успеют прийти к единогласному решению, как вдруг шелест, потом протяжный свист, и из-за кустов выходит Кармалюк».

По рапортам и донесениям заседателей видно, какая охота была за Кармалюком и его товарищами. «По учиненным розыскам и облавам, — пишет заседатель Жабронский, — поймано Михаила Смагуна — он же Борщук — и других, участвовавших в ограблении подполковника Дембицкого. В числе коих, при преследовании их в селе Комаровцах, был один с бакенбардами седыми, русявый, коего батьком звали — по-видимому Кармалюк, — бежал в сторону Майдана Нового лесами. Для отыскания коего с другими членами суда не устаю чинить розыски. А к удобнейшему отысканию предписываю экономиям иметь секретное наблюдение, не укрывается ли где в лесах, хуторах, подозрительных местах. Или не будет ли проезжать или проходить, на каков предмет учредить денные и ночные секретные караулы, чтобы не только укрываться, но и проехать не мог через здешний уезд. Под строгою ответственностью объявить самочестнейшим хозяевам, что за поймание его последует награждение, а за укрывательство не избегнуть строго по законам взыскания целым обществом».

Аресты приняли такой массовый характер — ведь за одно укрывательство карали все общество! — что в воздухе запахло грозой восстания. Это хорошо понимали все чиновники суда. «Принять неусыпные меры и полную полицейскую заботливость, — пишет в рапорте заседатель Кондратский, — осторожного обращения с низшим классом в охранении и отвращении всякого сомнения с какой-либо стороны. Не сталось бы подозрение по какому-нибудь предрассудку, которое здесь, по легкомыслию от низшего класса людей, почти ежеминутно водится».

Перечислив десятки людей, каких нужно арестовать по делу Кармалюка, Кондратский заключает: «Чтобы взять под непременный строгий арест на местах их жительства всех тех лиц, как в рапорте местным экономиям изъяснено. В предохранение всякой стычки не допускать к всеобщему разговору с народом».

А в народе все упорнее шли толки: до каких же пор мы будем смотреть, как полиция хватает и угоняет в тюрьмы всех, кто попадается под руку. Люди, узнав, что к селу едет исправник или заседатель, уходили в леса и не появлялись оттуда месяцами. Тот же заседатель Кондратский пишет в другом рапорте: «Черменецкие крестьяне, избегая ответа, шатаются по разным местам и соединяются с шайками преступников. А местное

сельское управление им делает послабление и поноровку. Оно укрывает в селе тогда, когда об отыскании оных везде делаются публикации, чем обманывается правительство».

Местное сельское управление делало «поноровку» потому, что само боялось Кармалюка. От исправника да заседателя будут только выговоры за плохое смотрение, а Кармалюка тронешь — беды не оберешься, будешь сидеть под охраной солдат, как пан Янчевский. Или совсем придется удирать, спасаясь от расплаты. И сотские да управляющие предпочитали делать вид, что ничего не замечают.

Размах деятельности загонов Кармалюка все нарастал. В середине ноября 1833 года — вскоре после нападения на Дембицкого — губернатор вызвал к себе чиновника особых поручений Визерского и приказал:

— Составьте из судов Литинского и Летичевского комиссию, поезжайте в село Галузинцы и действуйте со всею решительностью. Ежели потребуются войска — отнеситесь о том незамедлительно прямо ко мне. И по ходу всех дел шлите рапорты. В средствах не стесняйтесь. Разрешаю все делать моим именем. На то вы получите бумаги, а местным властям будут разосланы указы. Хочу дать вам совет: не уповайте на облавы. Они, как вы видите, не дают должных результатов. Крестьяне, веря в сверхъестественную силу Кармалюка, не решаются задерживать его, если он и встречается им. Оттого он и уходит постоянно, как бы много народу ни преследовало его. Найдите, как это сделал пан Янчевский, какого-нибудь шляхтича, который мог бы заманить его в ловушку. Да и то возьмите в соображение: Кармалюк давно уже перешел к открытому бою. Ежели раньше он только оборонялся да порол помещиков, мстя за обиды, то ныне — стреляет в каждого, кто осмеливается подступить к нему, чтобы схватить. И если вам удастся его как-то взять, то я обещаю: на этот раз он не уйдет от виселицы! Так и объясните всем, кто вам будет оказывать содействие, дабы не опасались, что он еще раз вернется из Сибири и отомстит. Это поднимет их дух и решимость.

Комиссия во главе с Визерским прибыла в село Галузинцы. Просидела она там год, провела сотни облав, допросила тысячи людей, арестовала несколько человек из загона Кармалюка, но на его след не могла напасть. Поиски предателя тоже ни к чему не привели. Не только Визерский, но и паны один за другим назначали все больше вознаграждения тому, кто укажет, где скрывается Кармалюк, но охотников не находилось.

Осенью 1833 года Кармалюк, узнав, что жена умерла, решил

навестить сыновей. Жена старшего сына Ивана, Мария, так впоследствии рассказывала об этом:

«Затем зашел в хату, спросил Остапа:

— Ты хочешь жениться?

— Хочу, — отвечал Остап и упал до ног.

Отец благословил, велел Ивану непременно свадьбу справить, при сем подтверждая:

— Справ весилля. Он бедный, не мае притулыска, хоть и був в служби.

Провели так всю ночь, а наутро Иван повел батька на петровскую корчму, называемую «Выдумка».

На заручинах опять подъехал верховой лошадью. В шляхетском тулупе и кашкете черного сукна. С пикою и пистолем. На другой день отца уже не было. Потом был на крещение. Господскими лошадьми. Иван и Остап поцеловали его в руки, а он сказал:

— Добре, диты, що з вамы батько побачывся, бо не знаю, чи бильш побачусь…

На себе имел всегда неодинаковое одеяние. Раз в солдатской шинели, другой — в кожухе, а третий — в шляхетской уже…»

Это посещение семьи не укрылось от глаз Визерского. Он арестовал и сыновей и невестку. А осенью следующего года Андрей Словинский, вернувшись из Литина, сказал:

— Батьку, Ивана закатувалы…

— Проклятые душегубы! Кричат всюду: Кармалюк убивает. А скилькы самы выносят из тюрем закатованных людей, того не бачат! Сидлай коней!

В сопровождении Андрея Словинского Кармалюк поскакал в Литин. Постоял возле могилы, сдерживая слезы, и умчался. Он дал клятву, что отомстит за смерть сына. А литинская полиция в рапорте суду сообщала: «Содержащийся под стражею по делу подполковника Дембицкого арестант Иван Кармалюк, о коем дело стоит в решении оного суда, сего месяца 17 августа волею божею умре…».

— Я разгоню эту галузинскую комиссию! — говорил Кармалюк с таким гневом, какого еще не замечал в нем Словинский. — Я сожгу все бумаги этого чиновника Визерского!

— Да и его надо так выпороть, чтобы и смотреть в сторону леса боялся! — вставил Андрей.

— Он свое получит!

«С 12-го на 13-е число сего августа 1835 года, ночью, неизвестные злоумышленники, напав в селе Красносилки на дом посессорши Поплинской, ограбили оную из имущества и денег на немалую сумму. По примечаниям Поплинской и служителей было

их более шести человек. Три человека были по-шляхетски одеты: в сюртуках, поясами подвязаны, в сивых шляхетских шапках, с ружьями и ножами. А последние, которые окружали дом, были вооружены в пики.

Земский суд предписывает управляющим селений и местечек сию минуту, собрав до нескольконадцати верховых из благонадежных людей, отправиться с оными по корчмам трактовым, а в особенности в лесах стоящим. Как сии, так и дома лиц по поведению зазорных, равно все сумнительные и глухие места со всею тщательностью осмотреть. И буде кого из подозрительных людей отысканы будут, тотчас доставить в сей суд, на грунте в селе Красносилки учрежденный.

Настоящее оповещение по прочете и расписке, не удерживая, отправлять тотчас по тракту, ниже сего изложенному, с верховыми нарочными, дабы можно было видеть действие каждого из управляющих селений».

Магдалина Поплинская, придя в себя, помчалась к губернатору. В кабинет губернатора ее ввели под руки, чуть живую. Забыв даже поздороваться, пани Поплинская произнесла, трагически воздевая руки к небу:

— Спасите меня!..

И, повиснув на руках у чиновников, зарыдала. Переполох поднялся в канцелярии такой, точно явился сам Кармалюк, и все готовились к отражению нападения.

— Ваше превосходительство, — начала пани Поплинская, когда ее привели в чувство, — я не в силах изобразить вам все те ужасы, которыми была окружена. Одному только явному покровительству провидения обязана я спасением дней своих. Но разбойники сделали меня нищей. У меня нет ни гроша…

Только наличными деньгами и вещами они забрали у меня девятнадцать тысяч рублей.

— Успокойтесь, пани Магдалина, мы найдем средство поймать его. И непременно казним! Довольно того, что он уже двадцать три года держит в страхе весь край!

— Ваше превосходительство, как же вы предадите его смерти, когда в России казнь отменена? — простонала пани Поплинская: об этом ей говорил предводитель дворянства, когда она спрашивала его, почему они до сих пор не повесили Кармалюка.

— А я вам, пани Магдалина, напомню, что ответил государь графу Палену, когда тот посетовал, что у нас смертная казнь отменена. «Виновных прогнать сквозь тысячу человек 12 раз, — начертал государь собственной рукой на рапорте графа. — Слава богу, смертной казни у нас не было и не мне ее вводить». А не всякий, как известно, выдерживает и четыре тысячи шпицрутенов.

Успокаивая и утешая пани Магдалину, губернатор не преминул, однако, порекомендовать ей в будущем проявлять больше сдержанности в обращении с крестьянами.

— Хлопов надо наказывать. Этого никто не отрицает. Но доводить до эксцессов — этого я вам очень и очень не советовал бы. Кармалюк настолько успел огайдамачить наш край, что неразумными мерами легко довести дело до повторения той резни, во главе которой стояли Железняк и Гонта. Вы вот сами говорите, что, выскочив в окно, колотили в двери крестьянских хат, выбивали стекла в их окнах, однако хлопы не спешили вам на помощь.

— А все потому, что они сами ходят на разбои с Кармалюком! — гневно воскликнула пани Магдалина, забыв, что она все время притворялась еле живой. — Я это давно заметила, а потому и порола всех подряд! И буду пороть, пока они не откроют, где мое имущество и деньги!

— А я бы все-таки советовал вам, пани Магдалина, пока воздержаться от этих всеобщих экзекуций, — стоял на своем губернатор. — От наказания сообщники Кармалюка не уйдут. Но поспешность в этом деле только повредит к открытию его.

После разгрома имения пани Поплинской Кармалюк, видя, что вся шляхта губернии села на коней и рыщет по лесам и селам в поисках его, ушел под Винницу, на медведовские хутора. «Между тем целые вереницы его товарищей потянулись на каторгу в Сибирь после наказания кнутом и наложения клейма. Процедура публичной казни над ними продолжалась несколько месяцев».

Но как только шляхта и полиция немного поубавили пыл, решив, что Кармалюк навсегда ушел из этих мест, а возможно, и погиб где-то, он опять вернулся в окрестности Деражни и начал готовить новые нападения на панские поместья. Верным помощником его в это время был Андрей Словинский — молодой и очень смелый парень. Несколько раз он вместе с Кармалюком вырывался из облав, оружием прокладывая себе дорогу. Когда на хуторе Зелинского их окружила шляхта, то в завязавшейся перестрелке Кармалюк ранил шляхтича Бирского. Тот, в свою очередь, тоже успел выстрелить в Кармалюка, но Словинский ударил его под руку и заряд угодил в стоявшего рядом с Устимом Якима, который вскоре и скончался. Все думали, что убит Кармалюк, но пуля его на этот раз еще миновала.

Власти усиленно искали предателя. Анна Зелинская, на хуторе у которой произошел бой Кармалюка со шляхтой, была арестована. Узнав, что исправник ищет, кто бы мог выдать Кармалюка, она вместе с некоей Марией Рекруткой выразила

желание это сделать.

— Як що вы пустыте нас, ваше благородие, — говорила Анна исправнику, — то мы поможемо вам пийматы Кармалюка.

— А не удерете?

— Ваше благородие, клянемся вам…

— Ну, глядите же у меня, — пригрозил исправник. — Я все равно вас поймаю, и тогда уже каторги вам не миновать!

Доложили губернатору, и тот немедленно написал Летичевскому суду: «Я соглашаюсь на отдачу на поручительство подсудимых Анны Зелинской и Марии Рекрутки, изъявивших желание подать известные способы к поимке преступника Кармалюка. Предлагаю суду освободить их из-под стражи, но в таком только случае, если поручительство по них будет совершенно благонадежно».

А на обороте этой бумаги губернатор писал чиновнику особых поручений Непорожнему: «Обратите на упомянутых подсудимых, по освобождению их, строгое, но неприметное наблюдение, дабы мера сия возымела надлежащий успех».

Непорожний принялся за поиски поручителей. Зелинская назвала пана Стецкого, но тот не согласился, сказав, что это заявление ее считает сомнительным. Зелинская, дескать, прикосновенна к злодействам Кармалюка и, он уверен, что, выйдя из тюрьмы, она немедленно скроется.

Началась длительная секретная переписка. Как жаждали все, начиная от заседателей и кончая губернаторами, поймать Кармалюка, говорит такой документ, посланный под грифом «секретно».

«Господину подольскому гражданскому губернатору.

Управление киевского военного, подольского и волынского генерал-губернатора.

В дополнение представления вашего превосходительства от 14-го сего июля, прошу вас уведомить меня об успехе распоряжений ваших насчет поимки преступника Кармалюка посредством содержащихся в Летичеве под арестом Анны Зелинской и Марии Рекрутки.

Генерал от кавалерии генерал-адъютант гр. Левашов».

Но Непорожний после долгого изучения этого дела сообщил губернатору, что Зелинская и Рекрутка — женщины ненадежные. «По мнению уездного суда, они должны подлежать наказанию кнутом и ссылке в каторжную работу». Губернатор согласился. Зелинской не удалось с помощью этой хитрости вырваться из тюрьмы и избежать каторги.

ПРЕДАТЕЛЬСТВО. ГИБЕЛЬ

Тільки-но ступив у сіни —
Глянув та й спинився.
Гримнув постріл за дверима —
Кармель повалився…

Осенью 1835 года Кармалюк, поселившись в окрестностях села Каричинцев-Шляховых, начал готовить нападение на панов Волянского и Кузьминского. Но в сентябре исправнику удалось напасть на его след. Многие из тех, кто помогал готовить нападение на пани Поплинскую, были арестованы. «Главнейший же из сих злоумышленников начальник известный Кармалюк с товарищем Андреем при преследовании, — писал заседатель в рапорте, — ушли и не пойманы».

Опять начались поиски людей среди арестованных, которые бы согласились помочь поймать Кармалюка. Установили, что Кармалюк бывал у Прокопа Процкова, жившего в Каричинцах-Шляховых. Исправник принялся за обработку Прокопа, но тот отверг все его посулы и домогательства.

Он твердил одно: Кармалюк бывал у него, но где ныне скрывается, то ему неведомо. Тогда исправник взялся за сестру Прокопа Варвару и его жену Елену. Женщины тоже упорствовали, но когда к обработке их подключили и священника, они не выдержали и сдались. «Затем земский исправник, обще с земским судом, не подвергая означенных женщин аресту, но дав оным наставление о сохранении сего в тайне, о заманке преступников к себе, отпустил на грунт, имея за оными особо неприметный надзор».

Расчет был таков: Кармалюк, увидев, что Елена и Варвара отпущены, придет к ним хотя бы затем, чтобы узнать о судьбе арестованных товарищей, а его в это время и схватят. Исправник, поручая пану Кузьминскому наблюдение за Еленой и Варварой, наказывал:

— У разбойников имеются ружья и пики. Кармалюк постоянно прибегает к сопротивлению оружием. А посему я вам тоже разрешаю употребить оружие. На то у меня есть указание самого губернатора. Так что можете на этот счет быть в совершеннейшем спокойствии, ежели произойдет даже и смертоубийство. В подтверждение истинности моих слов вам пример: Викентий Бирский убил в доме Зелинского одного разбойника и от суда освобожден, ибо сделал сие для защиты жизни своей.

Вскоре Кузьминский узнал, что Кармалюк собирается напасть на него, и стал умолять исправника дать ему солдат. Но исправник не мог этого сделать, так как солдаты отпугнули бы Кармалюка.

Исправник не ошибся: как только Кармалюк услышал, что Елена и Варвара выпущены из тюрьмы, он сразу же пришел к ним с Андреем Словинским. Но пришел он глубокой ночью, и его никто не заметил. Он вызвал Елену во двор и принялся расспрашивать обо всем:

— А Прокопа почему не отпустили?

— Его дуже оговорили, — дрожащим голосом отвечала Елена.

— Кто?

— Того я не знаю.

— А о чем тебя спрашивали?

— Про все, — уклончиво отвечала Елена, — про тех, кто напал на Дембицкого и пани Поплинску.

— И что же ты отвечала? — строго продолжал Устам, от которого не укрылось, что Елена явно неохотно, с каким-то внутренним сопротивлением отвечает на его вопросы. — Ну, чего же ты молчишь?

— А что я могла ответить? Я ж ничого того не знала…

— Та что ты мямлишь! — рассердился Кармалюк — Рассказывай все, как оно было?

— Та я… все уже сказала…

— Слушай, Олено, — подойдя к ней близко, чтобы видны были ее глаза, сказал Кармалюк, — ты цто — перепугалась или продалась?

— Батьку! — взмолилась Елена, кидаясь ему в ноги. — Клянусь тоби богом…

— Только без этого! Андрей, помоги ей встать! Фу, черт! Говорить с бабой хуже всякого наказания! Да перестань слезы лить. Они тебе еще пригодятся, если ты вздумала обмануть нас! Это ведь все равно вскроется. А теперь слушай, что я тебе скажу. Передай Юрку Самкову, чтобы у тебя нас ждал. Хватит ходить вокруг да около. Пора уже проучить старого собаку Волянского, чтобы знал, как сажать моих людей в остроги! А заодно и Кузьминского. Только смотри мне: чтобы это незаметно было сделано. Если же проведает кто-то, что я приду, то в дупло вербы, что у криницы, воткни пук соломы. Все поняла?

— Поняла, батьку.

— Добре. Мы пойдем. Путь нам еще далек, а утро уже близко.

Когда Елена вошла в дом, Варвара накинулась на нее:

— Ну что? Призналась?

— Отчепись ты! — крикнула на нее Елена.

— Я сама ему скажу!

— Да он и тебя и меня убьет, как узнает, за что нас выпустили!

— Пусть лучше убьет, а я не хочу…

— Молчи! Теперь уже поздно! Надо было быть храброю там, в тюрьме! А то там молчала, как в рот воды набрала, а теперь, смотри, как разошлась!

— А я молчала потому, что никто меня не спрашивал. Ты за все сама расписывалась!

— Так почему ж ты пошла из тюрьмы? Если ты такая разумная, то надо было сказать: «Я лучше, ваше благородие, на каторгу пойду!» Почему ж этого не сказала?

— А меня спрашивали?

— А у тебя у самой языка нема? Тебе сказали, почему нас выпускают? Сказали! Так чего ж тебе еще? И не думай на меня все взвалить. Не выйдет.

Елена послала Варвару к пану Волянскому, но та наотрез отказалась идти. Умоляла и Елену не доносить, что Кармалюк придет. Они долго спорили, и Елена уже было согласилась: нет, пусть лучше, мол, в Сибирь на каторгу гонят, она ничего не скажет. А потом все-таки пошла к пану Волянскому. Тот, узнав, в чем дело, погнал нарочного к капитану Хлопицкому. Но так как храбрый капитан предусмотрительно удрал, то записка попала к управляющему Кальной-Деражни Рутковскому. Рутковский примчался к Волянскому, позвали пана Кузьминского и принялись обсуждать, что делать.

После долгих споров решено было: Рутковский, собрав надежных людей, устроит засаду в доме Елены Процковой.

— Заберите все ружья, все веревки, — твердил пан Волянский. — Только поймайте, только не упустите его. Мы будем перед самим царем хлопотать о награде для вас, пан Рутковский, если вы избавите нас от этого чудовища!

— И не надейтесь на веревки! — наставлял пан Кузьминский. — Он их рвет, как солому. Пулей, пулей берите его! Об этом меня особо предворял пан исправник!

— Да, да, пулей, — подтверждал пан Волянский. — И без всякого стеснения. Он, гайдамак, давно уже того заслужил.

— Панове, все это так, — сказал Рутковский, который видел, что деваться ему некуда, придется идти в засаду. — Но где людей надежных взять? Ведь все хлопы почитают Кармалюка чародеем…

— Упаси вас бог! — испугался пан Волянский. — Хлопам об этом нельзя говорить ни единого слова, а то они предварят Кармалюка! Только шляхту берите! Среди нашей славной шляхты

еще не перевелись храбрые рыцари!

Но «храбрых рыцарей» с трудом нашлось всего пять. Это были повар, лакей, мельник, то есть мелкая, пресмыкающаяся возле панского стола шляхта. «Крестьян из опасения измены не посвятили в тайну предприятия. Мелкий осенний дождь, темнота ночи — все благоприятствовало. Двое засели в хате на печке, чтобы не спускать с глаз женщин. Три других, имея во главе Рутковского, разместились в обширных сенях. В случае неудачи оторвали несколько снопов соломы из крыши. Было это, правда, не по-рыцарски, но что вы хотите от мирных каричинских жителей. И то следует удивляться, — заключает Ролле описание этого приготовления своих соотечественников к бою, — откуда у них набралось столько храбрости».

Время тянулось медленно. Вот уже первые петухи пропели, вот вторые подали голос, а Кармалюк не появлялся. Рутковский решил, что его предупредили о засаде, но, боясь, как бы Кармалюк не напал на него, когда он выйдет из хаты, ждал рассвета. Вдруг послышались во дворе шаги, и кто-то сильно, требовательно застучал в окно. Все оцепенели от страха. Стук повторился. Рутковский толкнул Елену в спину; иди, мол, открывай. Не подходя близко к окну, она спросила прерывающимся голосом:

— Хто там?

— Открывай!

— Зараз… зараз, батьку… — узнав голос Кармалюка, заметалась по хате Елена, — зараз открою…

Когда Елена открыла дверь, Кармалюк, не входя в хату, спросил:

— Есть Юрко Самков?

— Был да ушел недавно, — соврала Елена.

— Я ж тебе говорил, чтобы он был непременно! — сердито сказал Кармалюк. — Говорил я тебе это?

— Говорили, батьку… И я позвала его… Он ждал-ждал и совсем недавно ушел. Он думал, что вы уже не придете, — врала Елена, трясясь от страха.

В то время когда шел этот разговор, Рутковский, пользуясь тем, что ночь была очень темная, начал пробираться к двери, чтобы схватить Кармалюка сзади, как только тот войдет в сени. Кармалюк, услышав шорох, спросил, выхватив пистолет из-за пояса:

— Кто там?

— То… то овцы! — быстро нашлась Елена, так как овцы действительно были в сенях. — Варко! Выпусти овец! — повернулась в хату Елена. — Скоро уже утро…

— До утра еще далеко! — остановил Елену Кармалюк, поверив ей, ибо из сеней несло характерным запахом овчарни. — Надобно проспаться…

— Так заходьте, батьку… — пятясь от него, как от привидения вдруг перешла Елена на шепот. — Заходьте…

Кармалюк шагнул через порог и сразу же увидел за дверью Рутковского с наставленным на него ружьем. Он выхватил пистолет, но успел только курок взвести, как Рутковский выстрелил. Кармалюк, раскинув руки, как бы силясь удержаться за косяки двери, со всего маха упал навзничь…

«1835 года октября 11-го дня, в селе Каричинцах-Шляховых свидетельствовано было мертвое тело Кармалюка, имевшего от роду лет 50 и телосложение крепкое. Сей преступник 10-го октября застрелен из ружья во дворе одного крестьянина, и на месте, на котором получил он огнестрельную рану в голову, имеются следы большого количества крови, истекшей из раны.

При наружном осмотре тела оказалось: 1. Волосы на голове русые, остриженные по-шляхетски, борода чисто обрита, усы русые, подстриженные.

2. Лоб широкий, открытый, глаза большие серые, нос большой горбатый, скулы выдавшиеся, не имеется двух нижних передних зубов.

3. На лбу и на обоих висках близ наружных углов глаз — по два синеватых рубца от клеймения, какое делается преступникам после наказания кнутом.

4. Часть левой височной кости, половина левой темянной кости спереди и сзади, часть лобной и часть затылочной кости с левой стороны раздроблена…

5. Большой рубец над правою лопаткою и по одному рубцу на обеих ногах от каких-то ран.

6. Очень приметные полосы вдоль спины от наказания кнутом.

Свидетельствовал летичевский уездный штаб-лекарь Дроздов».

Из Каричинцев-Шляховых тело Кармалюка под охраной солдат — его и мертвого боялись — повезли в Летичев. По дороге останавливались во всех селах и показывали его, чтобы народ убедился, что Кармалюк убит. В Летичеве завезли во двор тюрьмы и показали всем арестованным: смотрите, мол, как кончил ваш атаман, и сознавайтесь во всем. Наконец «похоронили в Летичеве за городским кладбищем. Без священника, без креста, без гроба. За возом, в котором лежало тело, шел караул».

Писарь Литинского суда, перенося в журнал рапорт

Рутковского о том, как был убит Кармалюк, отступил от изложения фактов и, подражая древним летописцам, вывел:

«Сим образом кончил жизнь свою славный злодеяниями Кармалюк, наказанный три раза шпицрутеном и три раза кнутом, столько же раз бежавший из каторжной работы, непокоивший многие годы здешнюю округу, имевший чрезвычайные и даже неимоверные почти связи, сделавшийся, сказать можно, водрузителем всего зла и сим ввергнувший многих простолюдинов в пагубу и в самое даже суеверное всеобщее о его силах и могуществе мнение».

ЭПИЛОГ

После гибели Кармалюка чиновник особых поручений Визерский сидел со своей комиссией в Галузинцах еще четыре года. В тюрьмы были брошены сотни людей. Десятки людей умерли в острогах, посаженные туда по одному подозрению: паны пользовались случаем избавиться от неугодных им крестьян. Канцеляристы исписали тысячи страниц бумаги, а делу все конца не видно было.

Наконец в 1837 году сам «государь император высочайше повелеть изволил: немедля кончить в правительствующем Сенате дело о содержащихся в городе Летичеве под стражею арестантах». Министр юстиции Дашков предписывает исполняющему должность обер-прокурора 5-го департамента Сената «в возможной скорости представить для доведения до высочайшего сведения дело о разбойничьей шайке Кармалюка». Министра юстиции возмущает то, что дело это рассматривается в Сенате уже с 1835 года. Обер-прокурор отвечает министру юстиции, что дело движется так медленно потому, что «количество подсудимых, состоящее из 138 человек, препятствовало ранее марта сего года привести дело о разбойничьей шайке Кармалюка к окончанию».

И только 1 июня 1837 года статс-секретарь Сената Танеев «имел счастье представить государю императору» приговор на 138 человек, просидевших под следствием более четырех лет.

— Так сам Кармалюк убит? — спросил царь, глянув на список подсудимых.

— Убит, ваше величество!

— А шайки его не все еще пойманы?

— Почти все, ваше величество! — ответил Танеев. — Но суды продолжают, как мне о том доподлинно известно, вылавливать соучастников этого разбойника. По его милости, ваше величество, за двадцать три года из Подолии переселено в Сибирь властями около двадцати тысяч простолюдинов. Это дело, как ваше величество изволит видеть, тоже весьма обширное, а потому и было задержано производством…

Царь Николай I утвердил определение Сената, и по дорогам Подолии опять двинулись, гремя кандалами, боевые товарищи Кармалюка. Но Андрей Словинский продолжал громить панские поместья. И в народе все упорнее ширился и креп слух, что Кармалюк не погиб, что это он мстит панам. Народ слагал песни о нем, как о живом.

Так Кармалюк — этот славный рыцарь, как сказал о нем

Тарас Шевченко, вечно живым и остался в памяти народа, за волю и счастье которого он всю жизнь боролся с оружием в руках.

ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УСТИМА КАРМАЛЮКА

1787, 27 февраля — В селе Головчинцах Подольской губернии в семье крепостного крестьянина Якима Кармалюка родился сын Устим.

1806, март — Женитьба на крепостной крестьянке того же села Марии Щербе.

1811 — Первый арест с целью сдачи в рекруты. Побег.

1812 — Второй арест и отдача в рекруты. Служба в 4-м уланском полку. Побег из полка.

1813, 24–30 марта — Разгром сельских мироедов Федора Шевчука и Ивана Сала в селе Дубовом.

1813, 30 июня — Разгром имения пана Пигловского в селе Головчинцах.

1814, весна — Кармалюк пойман в лесу возле села Дубового и посажен в Каменец-Подольский ордонанс-гауз.

1814, 13 августа — Комиссия военного суда выносит приговор: прогнать сквозь строй в пятьсот человек один раз.

1814, конец августа — Отправка Кармалюка в один из полков, расположенных в Крыму. Побег с дороги.

1814–1817 — Новые нападения на помещиков.

1817, 11 января — Арест, отправка в Каменец-Подольский ордонанс-гауз.

1818, 20 сентября — Комиссией военного суда Кармалюк приговорен к смертной казни.

1818, 24 октября — Генерал-губернатор Бахметьев заменяет смертный приговор на вечную каторгу.

1818, 25 октября — На площади возле Каменец-Подольской ратуши Кармалюка бьют «кнутом 25 ударами с выставлением указанных знаков» и в ноябре отправляют в Иркутск «для употребления в каторжные работы».

1818, конец года — Побег из перитинского этапа Вятской губернии.

1819, весна — Возвращение Кармалюка на Подолию и новые нападения на помещиков.

1822, 22 марта — В неравном бою со шляхтой Кармалюк ранен и схвачен вместе с двумя товарищами.

1823, 21 февраля — Приговор суда: сто один удар кнутом и вечная каторга.

1823, 12 марта — Неудачная попытка побега из Каменец-Подольской крепости.

1823, 11 апреля — Приведение в исполнение приговора суда.

1824, зима — Отправка на вечную каторгу в Сибирь.

1825, начало февраля — Прибытие Кармалюка в Тобольск. Отправка на Ялуторовский винокуренный завод.

1825, конец февраля — Побег с винокуренного завода. Арест и перевод на медеплавильный завод.

1825, весна — Побег Кармалюка с медеплавильного завода.

1826, май — ноябрь — Кармалюк на Подолии. Нападение на шляхтичей и помещиков Осторского, Станиславского и других.

1827, март — Приказ генерала 2-й армии Байкова войсковым частям, расположенным в уездах Литинском, Летичевском и Могилевском об оказании помощи местным властям по борьбе с отрядами Кармалюка.

1827, 17 июня — С помощью изменника шляхтича Ольшевского властям удается арестовать Кармалюка. Кармалюк открыто призывает крестьян вязать панов.

1827, 8 — 11 *декабря* — Кармалюк поднимает бунт в Литинском замке, но ему не удается бежать.

1828, февраль — Приговор суда: опять сто один удар кнутом и вечная каторга в Сибири.

1829, 29 января — Прибытие в Сибирь. Отправка на Боровлянский стекольный завод.

1829, 26 мая — Побег Кармалюка с Боровлянского стекольного завода.

1830, 1 января — В Нежине «за неимением письменного вида» Кармалюк арестован. После суда и наказания ста ударами палок зачислен в Архангелгородский полк.

1830, 14 августа — Побег из полка.

1830, 9 декабря — Арест Кармалюка в селе Новая Синява.

1831, 3 декабря — Приговор Кармалюку: сто один удар кнутом и вечная каторга.

1832, апрель — Побег из Литинского замка.

1833, конец года — Создана специальная Галузинская комиссия для борьбы с отрядами Кармалюка.

1835, 10 октября — Засада в доме предательницы Елены Процковой. Смерть Кармалюка.

КРАТКАЯ БИБЛИОГРАФИЯ

• «Устим Кармалюк». Сборник документов. Киев, 1948.

• «Народ про Кармалюка». Сборник. Киев, 1961.

• Лавров П., Устим Якимович Кармалюк. «Труды исторического факультета Киевского университета», т. I. Киев, 1939.

• Лавров П., Селянский рух у Подільскій губерніі в першій третині XIX ст. Київский державний університет. Наукові записки; т. V, вып. I, 1946.

• Гуржий И., Компан О, Устим Кармалюк (историко-биографический очерк). Киев, 1960.

• Шерстюк Ф., Кармалюк. Москва, 1943.

• Ролле А., Кармалюк. «Киевская старина», 1886 г., март.

• Максимов С., Сибирь и каторга, т. I. Москва, 1917.

• Ахшарумов Д., Из моих воспоминаний. Спб, 1905.

• Ерофеев И., До питания про Кармалюка. Журнал «Червоний шлях» № 6, 8–9, 1924.

СОДЕРЖАНИЕ

• СЫН КРЕПОСТНОГО
• ПЕРВЫЙ БУНТ
• В ПОЛКУ
• ПЕРВЫЕ ПОЖАРЫ
• ПЯТЬСОТ ШПИЦРУТЕНОВ
• К СМЕРТНОЙ КАЗНИ
• В СИБИРЬ
• БОЙ СО ШЛЯХТОЙ
• БУНТ В ТЮРЬМЕ
• НА КАТОРГЕ
• ПРИКАЗ ВОЙСКАМ
• ВЯЖИТЕ ПАНОВ!..
• ОСАДА В КАМЕРЕ
• ТРЕТИЙ ПОБЕГ ИЗ СИБИРИ
• ПОБЕГ ИЗ ЛИТИНСКОГО ЗАМКА
• ГАЛУЗИНСКАЯ КОМИССИЯ
• ПРЕДАТЕЛЬСТВО. ГИБЕЛЬ
• ЭПИЛОГ
• ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УСТИМА КАРМАЛЮКА
• КРАТКАЯ БИБЛИОГРАФИЯ

notes

Примечания

1

Все песни взяты из сборника «Народ про Кармалюка». Киев, 1961.

2

Под арест! (польск.).

3

Так польские паны называли восстание крестьян 1768 года под руководством Железняка и Гонты.

4

Маркитант — торговец.

5

Ацан — сударь (польск.).

6

Колиивщина — от слова «кол»; колами были вооружены крестьяне.

7

Загон — отряд.

8

Повит — уезд.

9

Страна, текущая реками молока и меда (польск.).

10

Жолнер — солдат (польск.).

11

Ловчий — один из чинов при дворах польских магнатов.

12

Что? Что это такое? (польск.).

13

К. Маркс и Ф. Энгельс, Соч., т. 12, стр. 699.

Первоприсутствующий — председатель.

15

Спыс — пика.

16

Вулык — улей (укр.).

17

«Киевская старина», март 1886 года. В этой книжке журнала опубликована работа Ролле о Кармалюке, в которой приведено много воспоминаний современников и архивных документов, впоследствии утерянных.

18

Лайдак — бездельник.

19

О времена, о нравы! (лат.).

20

Груба — печь (укр.).

21

Д.Д. Ахшарумов, «Из моих воспоминаний». Спб, 1905.

Кручек — 1/100 ведра горилки.

23

К. Маркс и Ф. Энгельс, Соч., т. 4, стр. 492